

К. А. Большаков Царь и поручик

Памяти брата Николая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Высочайший смотр войск лагерного сбора гвардии в 1835 году происходил шестого и седьмого июля. Восьмого был произведён примерный против мнимого неприятеля манёвр, а девятого вечером курьеры от Главной императорской квартиры уже развозили по штабам копии высочайшего приказа.

Дежуривший по штабу Петровской бригады, временно исполнявший должность адъютанта (высшее начальство поспешило отбыть вслед за Главной квартирой) поручик Самсонов прочёл перечень этих монарших милостей с довольно кислой гримасой.

Преображенскому полку, мундир которого он носил со дня выхода из школы и интересы которого не могли быть ему безразличны потому, что им командовал родной его дядя и благодетель Николай Александрович Исленьев, его Преображенскому полку никакого внимания в приказе выказано не было.

...Первой лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии... Лейб-гвардии гусарскому полку... -

читал Самсонов, и его лицо принимало всё более и более брезгливое выражение, -

...за твёрдое знание службы, исправное состояние людей их взводов и точное понимание манёвра объявляется высочайшее благоволение флигель-адъютанту поручику графу Браницкому ¹, корнетам: князю Витгенштейну, князю Вяземскому Александру, князю Вяземскому Николаю ² и Лермонтову...

— Лермонтов?!

У Самсонова даже брови приподнялись удивлённо, как будто он прочёл в приказе явную бессмыслицу.

Присутствие такой малозначительной фамилии в перечне столь блестящих имён показалось ему лично оскорбительным.

С ленивым зевком он выронил из рук печатный листок.

— Сними копии, — приказал писарю и, зевая и потягиваясь, вышел из помещения.

Откровенное попустительство дядюшки за всё время службы в полку и главным образом за время последней польской кампании, о которой он иначе и не вспоминал, как о самом приятном времяпрепровождении, внушило ему глубокое убеждение, что для него, Самсонова, существуют иные, чем для прочих, мерки и правила.

Сказавшись у дежурного по бригаде больным, он немедленно вслед за этим приказал закладывать коляску, и не прошло и получаса, как он отбыл в город.

¹ Браницкий-Корчак Ксаверий Владиславович (1814? - 1879) — поручик лейб-гвардии гусарского полка, писатель.

² Вяземский Николай Сергеевич (1814–1881) — князь, товарищ Лермонтова по школе юнкеров и гусарскому полку.

Перед заставой лакей крикнул со сна неестественно высоким голосом:

— Его благородие лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов!

Караульный — преображенец же, — сорвав с головы фуражку, вытянулся во фронт.

— Бомвысь! — брызнуло, как сплѣснутая вода.

Гремя, опустилась цепь у шлагбаума. На фоне белѣсо-зелѣного неба качнулась и с глухим звяканьем взмыла вверх длинная полосатая жердь.

Кучер подался вперѣд на козлах. Тройка добрых исленьевских орловцев рванулась и понесла. Звонко, словно скалывая камень, застучали копыта. В белом, чуть замутившемся свете дома летели навстречу призраками.

Этим летом в городском исленьевском доме шѣл ремонт. Семья дяди ещѣ в мае уехала в воронежскую деревню, и поэтому Евгений Петрович приказал, не останавливаясь, везти себя на дачу, на Каменный остров, где обычно теперь имели пребывание в свободное от службы время и дядя, и он.

Ещѣ не было и двенадцати, когда разгорячѣнные и взмыленные кони, сочно фыркая и звеня колокольцами, остановились у подъезда одноэтажного, прятавшегося за правильно подстриженной зеленью дома. Свет, мелькавший за стѣклами галереи, удивил и встревожил Евгения Петровича.

Кто же это? Неужели дядя успел вернуться из Петергофа? Нет, невозможно, решительно невозможно.

Он поспешно выскочил из коляски и взбежал на крыльцо.

Ещѣ на ступеньках к нему кинулся камердинер, Владимир, обычно разбитной и весѣлый, сейчас растерянный и напуганный. За ним в раскрытых дверях с такими же встревоженными лицами толпилась и вся остальная прислуга.

— Слава Богу, Евгений Петрович, что хоть вы приехали. Несчастье ведь у нас случилось.

Самсонов испытующе посмотрел на окружавших его людей.

— Что такое?

— Да как же... Сегодня, то есть прошлой-то ночью, весь дом обокрали. Пожалуйте, сами увидите, мы без вас ничего и трогать не решались.

Ещѣ новая неприятность, ещѣ новое препятствие провести остаток и без того утомившего дня согласно желанию. Не зная, как и на чѣм он сорвѣт досаду, Самсонов молча, вслед за болтавшим без умолку Владимиром, вошѣл в дом.

— Вот, извольте посмотреть, — торопился тот, не понимая, отчего это Евгений Петрович не говорит ни слова. — На веранду дверь утром оказалась открытой, и горшки цветочные — мы их на ночь к дверям приставляем — прочь отставлены.

Евгений Петрович передѣрнулся, как от внезапного холода, от неприятной и совершенно нелепой мысли: «Зачем я уехал из лагеря? Там было бы теперь спокойнее».

— Не иначе как кто-нибудь из своих, — вертелся около него Владимир. — Вон и сторож ничего не слышал, и собака не лаяла.

— Чего ж вы-то до сих пор так сидели? — прорывая накопившееся раздражение, закричал Самсонов. — Полиции почему знать не дали? Николая Александровича, меня почему не известили?

— Как же, как же, Евгений Петрович, — теряясь ещѣ больше, пролепетал Владимир, — с утра и к вам и к Николаю Александровичу люди в Красное посланы. И в полицию сообщено-с. Розыск делали. Следы-то до самого забора идут явственно, а за забором как сгинули.

— Дяде какая неприятность, — брезгливо поморщившись и вполголоса проговорил Самсонов. — Скоты! И этого охранить не сумели. Позовите мне сторожа.

Пока ходили за сторожем, Евгений Петрович успел осмотреть обокраденные комнаты.

В кабинете глазам Евгения Петровича представился полный разгром. Огромное красного дерева бюро было разбито, расковырены и выдвинуты все ящики. Тут же на ковре валялось и орудие этого разгрома — большое столярное долото. Запертый на ключ портфель

и копилка с серебром исчезли.

— Заспались! Стол ломали, а никто даже не очухался... — грозно хмуря брови, проговорил Самсонов. — Свои, должно быть, старались!

Толпившаяся вокруг него прислуга в один голос подтвердила, что посторонний так не мог, настойчиво просила произвести общий обыск. Самсонов, махнув рукой, приказал им замолчать. Недавнее раздражение успело уже погаснуть, уступив место безразличной и сонливой брезгливости.

Поверх поднимавшихся до самого окна курчавых шапок кустарника смотрел Евгений Петрович на мутное, напоминавшее снятое молоко небо. В глазах пошла рябь. Молочная гладь покрылась прозрачной и быстрой зыбью. Он потряхнул головой, освобождаясь от этого миража. Взял перо и раскрыл дневник.

Писал долго.

Небо за окном разгорелось и залилось жёлтым блеском. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой, птицы. Евгений Петрович бросил перо, отодвинул тетрадь.

В конце страницы было написано:

...Сегодня по ничтожному, случайному поводу родившаяся мысль долго не могла оставить меня. Как странна и прихотлива судьба человеческая. Рассеянно скользкий, но зоркий взгляд сильных мира сего на мгновение остановился на тебе. Находчивый доброжелатель успел шепнуть твоё имя, и твоя карьера, твоя судьба отныне и разом меняют своё направление, устремляя тебя к успехам и славе.

II

Николай Александрович Исленьев жил на широкую ногу.

Дом на Большой Морской царившими в нём порядками и заведённым обиходом подражал самым лучшим и богатым домам Петербурга. Помимо дома, помимо дачи на Каменном острове, в зимнее время предназначавшейся для пикников и малых охот, ещё постоянно снимались от владельцев две или три квартиры по месту летних и осенних стоянок батальонов Преображенского полка. Всё это обслуживалось постоянным и огромным штатом крепостной прислуги. Но в силу барских замашек, сугубой требовательности, выработавшейся в Николае Александровиче девятилетним командованием первым полком русской гвардии, эта прислуга казалась ему совершенно неудовлетворительной. Национальный патриотизм, который доходил у него до того, что в доме никак не терпелась французская кухня, и которым, в хорошую минуту, Николай Александрович любил похвастаться, не позволял ему взять вольнонаёмного дворецкого-иностранца, как это тогда стало модным в столице; воспитать же такого управителя, достаточно ревнивого и строгого, а главное, понимающего все его требования, из своих же людей он решительно не надеялся.

Поэтому в прошлом, 34-м году, смотря в полку выходявших в отставку солдат, он предложил одному из них, старшему унтер-офицеру Батурину, по какому-то внезапному вдохновению (впрочем, он всё делал таким образом) поступить к нему на эту должность.

Батурин выходил в бессрочную с неопороченной славой толкового и умного служаки. Но, вероятно, не это заставило Николая Александровича остановить на нём свой выбор.

Жгучий брюнет с курчавыми бакенбардами и плотными кольцами коротко подстриженных волос, молодежавый для своих сорока восьми лет, он чем-то — брезгливой ли складкой редко улыбающихся губ или пристальным, прямым и холодным взглядом — невольно вызывал в памяти представление о портрете одной высокой особы. Вот это-то, вместе с бравой осанкой преображенца, и решило в мыслях Николая Александровича его судьбу.

Летом этого года Батурину, пользовавшемуся у барина безграничным доверием, были поручены все хлопоты и расчёты с мастеровыми по ремонту городского дома. На даче он почти не бывал, появляясь там только для докладов барину. У Евгения же Петровича, всегда в своих привязанностях и симпатиях неизменно следовавшего дяде, ещё вечером мелькнула мысль поручить дальнейшее расследование этого неприятного происшествия именно Батурину.

Но проснулся Евгений Петрович поздно, в одиннадцатом часу. Вероятно, от долгого писания накануне он чувствовал головную боль, хотелось курить. Если позвать казачка, придётся проститься с такими приятными, так дружно заселившимися это утро мечтаниями.

За дверью послышался осторожный кашель.

— Прикажете умываться, Евгений Петрович? — нерешительно осведомились оттуда.

Мгновение было желание раскричаться и излить в брани свою досаду на сунувшегося без времени с умыванием Владимира, но Евгений Петрович сдержался.

Дневник, научивший его мыслить в манере, решительно не походившей на дядину, содержал в себе и такую недавно сделанную запись:

...Первейшая и главная обязанность каждого честного управителя знать прежде всего всю правду в кругу дел, порученных его ведению. Слепая доверенность подчинённым равна тяжчайшему преступлению против отечества и государя, и оправдания такому легкомыслию найти невозможно.

— Есть что-нибудь новое? — сурово покосился он на подававшего ему платье Владимира.

— Никак нет-с. Всё в прежнем положении.

— Скажи, чтоб послали сейчас же за кварталным, — не меняя тона, распорядился Евгений Петрович и, обдумывая дальнейшие необходимые мероприятия, приступил к туалету.

Полицейский офицер явился раньше, чем он успел окончить завтрак. Почтительно изгибаясь, он сообщил Евгению Петровичу в самых заискивающих выражениях, что пока никаких следов ни преступника, ни пропавших вещей полицией не обнаружено.

— Я вас попрошу сделать повальный обыск у прислуги, — прихлёбывая кофе и не слушая его, сказал Евгений Петрович. — Нужно или снять подозрение с этих добрых людей, если они неповинны, или... или приняться за них как следует.

— Слушаюсь, — изгибаясь всем корпусом, изрёк полицейский. — Разрешите идти?

— Пожалуйста.

Самсонов небрежно кивнул головой.

Позавтракав (к этому времени уже успели окончить обыск, ничего и ни у кого из дворовых не обнаруживший), он приказал закладывать коляску.

В город с собой он захватил, помимо Владимира, ещё двух дворовых.

По мнению Евгения Петровича, украденные вещи так или иначе должны будут очутиться на толкучем рынке. По ним дворовые смогут обнаружить вора.

На Морской в доме дяди он застал только работавших там мастеровых да дворника.

Батурин, оказывается, эту ночь даже не ночевал дома. Впрочем, по словам дворника, он и вообще последнее время появлялся здесь редко.

Евгений Петрович, несколько раздосадованный этой неудачей, остался ждать посланных на рынок дворовых.

Мысли упорно отказывались принять своё обычное, всегда такое успокоительное и занимательное для Евгения Петровича течение, пугались, перескакивали с одного предмета на другой. Было скучно, и занять себя было решительно нечем.

Через час примерно, без звонка, со своим ключом, по чёрному ходу вернулся Батурин. Он не предполагал застать здесь господ, потому что в столовую, где сидел Евгений Петрович, вошёл, не снимая цилиндра и легонько посвистывая.

Увидев молодого барина, он нисколько не смутился, с чувством никогда не покидавшего его достоинства снял шляпу и молча поклонился.

— Где ты пропадаешь, Батурин? — поднимая на него глаза, спросил Самсонов.

— А вот-с, извольте ли видеть, — не спеша, всё с тем же несмущающимся видом отвечал тот, — знакомого одного в отъезд провожал, так что у него и переночевал. А что, Николай Александрович сегодня сюда не собирались? — спросил он через минуту, переходя к окну и пробуя только сегодня, очевидно, повешенные занавеси.

— Не знаю, — рассеянно отмахнулся Самсонов, — Что у нас на даче произошло, ты разве не слышал?

— А что-с?

Самсонов вкратце рассказал о покраже и посмотрел на дворецкого.

Не сразу, всё с тем же невозмутимым видом, очевидно только хорошо взвесив и расценив всё сказанное, Батурин проговорил:

— Сейчас, конечно, сказать ничего невозможно. Однако, как и вы, я полагаю, Евгений Петрович, что не иначе как кто-нибудь из своих.

С этими словами он вышел.

Посланные на базар вернулись не скоро. Владимир, запыхавшийся, с взволнованным видом приблизился к барину.

— Ну что, Владимир, ничего не нашли?

— Ничего-с, но имеем сильное подозрение.

— На кого?

— На Михаила Ивановича.

— Никак вы с ума сошли! Из ненависти к Батурину вы готовы Бог знает что на него придумать. С чего ж вы его подозревать вздумали?

— Вот, извольте видеть, нам дворник сказал: здесь он почти не ночует. — Владимир говорил полушёпотом, словно боялся, что его могут подслушать. — Значит, как вы нам приказали, мы живым манером и отправились на толчок. Только туда приходим, как вдруг Михаил Иванович сам своей персоной к нам и идёт навстречу. Вы, говорит, что тут делаете. А мы отвечаем, что так, мол, прогуливаемся да кстати пришли посмотреть, не попадутся ли походнее манишки, вот Алексею нужны. А он нам и говорит: врёте вы всё, не манишки вы пришли сюда искать, а у вас покража была. Вы думаете, не знаю? Сколько раз вам, дуракам, говорил. Были б поосторожнее, и воровства бы не случилось.

— Когда это было? — удивлённо перебил Самсонов.

— Да час назад, пожалуй, не меньше. Мы потом ещё по толкучке прохаживались, как вы приказали, только ничего не обнаружили...

— Странно, странно, — задумчиво и вполголоса произнёс Евгений Петрович. — Зачем же ему понадобилось делать передо мною вид, что ему ничего не известно?

— И то странно, Евгений Петрович, — живо подхватил Владимир, — ему-то откуда вызналось, что у нас покража? Мы ведь никому не сказывали. Да и откуда такая великая милость: «Чай пить ко мне, — говорит, — приходите». Никогда допрежь этого не бывало.

— Ну, что ж теперь-то думаете делать? — нетерпеливо спросил Самсонов.

— А вот вы уж нам дозвоьте. Он у любовницы своей эти ночи ночевал. Нам это от дворника известно. Мы её адрес знаем. Дозвоьте у ней обыск сделать.

Минуту он колебался. Безупречная репутация Батурина исключала возможность какого бы то ни было подозрения, однако то, что рассказывали дворовые, если и не было прямой против него уликой, то, во всяком случае, оставить его свободным от подозрений уже не могло.

— Ну хорошо, — сказал после краткого раздумья Самсонов. — Я вам не только позволю обыскать квартиру его любовницы, но дам вам в помощь полицейского, которого сейчас вытребую.

«Как сильно в подлых людях чувство мести», — устало подумал Самсонов после их ухода.

III

На этот раз Владимир появился уже без всякой осторожности.

— Нашли, нашли! — задыхаясь, кричал он ещё на пороге.

— Где нашли? Что?

— Всё, Евгений Петрович, всё, как есть всё. У его любовницы было спрятано на чердаке да на печке. Она было нас и впускать не хотела, да квартальный приказал, отворила. Ну уж и кричала, и срамила нас, и Михаилом Ивановичем страшила! Но мы всё же во всех уголках перешарили, — нет ничего. Ну, думаем, плохо наше дело...

— Да постой, расскажи толком. Как же это так? Неужели Батурин? — всё ещё не веря этой новости, перебил его Самсонов.

— Вор, он самый и есть, грабитель, Евгений Петрович. Дрянь, думаем, дело совсем выходит, а делать нечего, уходить нужно, да спасибо Алексею. «Дай, — говорит, — последним делом на печке покопаюсь». А печка-то всего на четверть от потолка. Влез он на стул да руку туда запустил, однако рукой до конца не достаёт. «Дай, — говорит, — какую ни на есть палочку». Стал он палочкой-то ковырять, что-то и отозвалось. Он пуще, да и вытащил копилку, что в кабинете на столе стояла, только разломанная она, да и без денег. Ну уж я более ничего и дожидаться не стал. Оставил их там с квартальным, а сам скорее к вашей милости.

— Не может быть! — воскликнул поражённый Самсонов.

— Вот вам крест, Евгений Петрович!

И Владимир, выпучив на угол глаза, стал быстро креститься.

— Да постой ты, — раздражённо отмахнулся от него Евгений Петрович. — Как же это? Не может быть... Батурин, фаворит дяди, всем обеспеченный и облагодетельствованный... Батурин, двадцать пять лет беспорочно прослуживший в полку...

В маленькой проходной буфетной, соединявшей столовую с залом, раздались неторопливые и спокойные шаги.

Евгений Петрович кинулся к двери.

Батурин, невозмутимый, как всегда, и серьёзный, вошёл в столовую.

— А вчера ты где ночевал? — чувствуя, что бешенство душит его, закричал Самсонов.

Лёгкая усмешка пробежала по лицу Батурина. И эта-то усмешка вместе с презрительным спокойствием больше всего бесила Евгения Петровича.

— Я уже вам докладывал, — спокойно проговорил Батурин. — Знакомого провожал. И ту, то есть позапрошлую, ночь ночевал там же.

— Лжёшь. В ту ночь ты был и воровал у нас на даче.

— Это неправда-с, — невозмутимо и не отводя взгляда, сказал Батурин. — Кто это вам сказал?

— А вот...

У Евгения Петровича не хватало слов. Спокойствие Батурина доводило его бешенство до последних пределов.

— Запираться нечего. Все украденные вещи найдены у твоей любовницы.

У Батурина только усмешка ещё шире раздвинула губы.

— Покажите мне их, коли найдены, где же они?

В этот самый момент под окном затарахтели извозчичьи дрожки. Владимир рванулся к окну.

— Приехали, Евгений Петрович, квартальный с людьми нашими. И всё покраденное при них.

Батурин даже не пошевелился.

— Ну что, и теперь запираться будешь? — грозно обратился к нему Евгений Петрович.

— Нет, — отвечал тот, не отводя своего насмешливого и пристального взгляда. — Теперь уж запираться нечего. Украл так украл

— Да что ты каменный, что ли? — бросился к нему Самсонов — Совесть, совесть куда ты дел, мерзавец? Своего же благодетеля обокрасть решился? Командира, с которым служил? Да знаешь ли ты, что теперь пойдёшь на каторгу? И службу и крест, и доброе имя не пожалел?!

— Что тут долго разговаривать, — усмехнулся развязно Батурин. — Коли попался, так уж, значит, так тому и быть. Отправляйте куда следует.

Тут и Евгений Петрович не мог уже больше сдержать себя.

— Долой с него всё господское платье! — затопал он ногами, и шпоры, как бубенчики, залились несмолкающим весёлым звоном. — Надеть на него какой-нибудь армяк да отвести в часть. Слышите?

Дворовые, до сих пор стоявшие молча, как будто только того и ждали.

— Вот, Михаил Иванович, каких камердинеров себе заслужили, — издевались они, срывая с него сюртук и жилет.

Батурин с презрительной и недоброй усмешкой оглянулся кругом, пошевелил губами, как будто собирался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Покорно позволил снять с себя платье, покорно дал связать руки и так же, как и всегда, только, может, высокомернее и презрительнее, поклонившись, со связанными руками, на верёвочке, позволил увести себя из комнаты.

Вся эта история расстроила и утомила Евгения Петровича.

Проснулся он поздно, когда за занавесями уже мерцали светлые майские сумерки. Дневной сон не освежил, только, как после долгой дороги, тяжестью налил тело.

По бодрым шагам, сопровождавшимся звоном шпор, и резкому, слегка хриловатому (сорван командой) голосу, доносившемуся из дальних комнат, Самсонов догадался, что приехал дядя. Застёгивая сюртук, он пошёл ему навстречу.

— Ах, mon cher! ³ — закричал ещё издали, увидев его, Николай Александрович. — Ты проснулся? А то я не хотел тебя тревожить, потише стараюсь. Ну как находишь? По-моему, неплохо. А?

Он широким жестом прошёлся рукой по ещё не просохшим шпалерам законченной только сегодня гостиной.

— А как вам нравится история с вашим протеже? Вы слышали? — целуя подставленную щёку, спросил племянник.

— Да, да. Чёрт знает какая пакость. И это, представь себе, чуть ли не самый образцовый мой унтер. Каков реприманд ⁴ для твоего дядюшки! Теперь ведь государю всякую грязь докладывают. Вот недавно, можешь себе представить, какая произошла история. Князя Владимира Александровича Долгорукого ⁵ знаешь? Ну, флигель-адъютант, полковник. Прямо подумать невозможно... Ну, да я тебе расскажу, а сейчас должен прямо сказать: я тобою недоволен. К чему ты поспешил вмешать в это дело полицию?

— А как же можно было поступить иначе?

— Как? Очень просто. Домашним способом на конюшню отправить, а потом — иди, милый, на все четыре стороны. Поверь, что никакого бы шума не было. А теперь, представь, каково будет моё положение, если это дойдёт до государя?

И Николай Александрович брезгливо поморщился.

Племянник, совсем не сочувствуя, покачал головой.

³ Мой дорогой (фр.).

⁴ Выговор (фр.).

⁵ Вероятно, имеется в виду Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891), князь, в описываемое время флигель-адъютант, позже генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор.

За столом, прихлёбывая подогретое бургундское и чувствуя, как возвращается к нему его обычное — дома всегда благодушное — настроение, Николай Александрович вспомнил:

— Да, я хотел рассказать тебе про Долгорукого. Чёрт знает в какую отвратительную историю влопался бедный князь. И главное, ни сном ни духом не виноват.

Евгений Петрович довольно рассеянно прослушал историю. Потом с глубоким и тихим вздохом сказал:

— А я думаю, что всё-таки вы, дядя, не правы. Государю должно быть известно, да и каждый из нас — в доме ли у себя, в своём ли ведомстве — должен знать решительно всё. В этом корень благодетельной и мудрой власти. Батулин — это, конечно, мелочь. Я не по поводу этого, а смотреть так в принципе не должно.

— Парламент?! Нижняя палата?! Или нет, отдельный корпус жандармов, так, что ли? — расхохотался Исленьев. — Ах вы, молодые, молодые...

И остановился.

Закончил через минуту с грустной усмешкой:

— Вот смотрю я на вас, нынешнюю молодёжь, и грустно становится. И либералы-то вы какие-то непонятные. Если уж либеральничаете, то прямо по казённому образцу. За такой либерализм каждому бы следовало чин действительного статского и место в Сенате. Нет, из вашего поколения декабристам не выйти! — закончил он со вздохом.

IV

История, в которую, по словам Исленьева, так глупо попал ни сном ни духом не виноватый Долгорукий, имела место в Петербурге, возле Московской заставы, вечером первого июля, а третьего, то есть ровно через день, князь был дежурным флигель-адъютантом в Петергофе, где имел тогда своё летнее пребывание двор.

Говорили, что государь уже несколько дней был в дурном настроении. Предстояли манёвры в Красном Селе, но никаких распоряжений к выезду туда Главной квартиры ещё не последовало. Уже одно это могло служить недобрым признаком.

В таких случаях дежурный флигель-адъютант, попавшись не вовремя на глаза императору, легко мог сделаться причиной самого неумеренного гнева.

Князь Долгорукий занял позицию на приличном расстоянии от дворца, возле каменной балюстрады над Самсоном^б. Отсюда можно было в один момент перебежать площадку, если это потребуется, и так же легко и незаметно скрыться внизу, если Николай быстро, прямым шагом, не глядя по сторонам, зашагает от подъезда.

В заливе на императорской яхте пробили склянки, и репетир у князя в кармане тихонько, словно порывался и не мог позвонить, прошипел шесть раз.

На главном выходе с тяжёлым дребезжаньем распахнулись двери. Звук коротко отозвался и пропал в утренней тишине. От скрипа шагов на камне князь вздрогнул.

Николай поспешно сошёл со ступеней, не сделав и двух шагов по площадке, остановился, полной грудью вдыхая свежий воздух. На нём был старый, без эполет, поношенный сюртук Семёновского полка и такая же фуражка, с поднятой сзади тульёй. От тени, которую бросал козырёк, лицо казалось не живым, с переливающейся под кожей кровью, а гладко прописанным красками — так равномерны были переходы оттенков и неподвижны черты. И только глаза, большие и тёмные, от одного взгляда которых у редкого не сжималось трепетно сердце, горели пронзительным огнём.

Император прямой, как всегда, но неторопливой на этот раз походкой зашагал к балюстраде.

— А, Долгорукий! Здравствуй! Молодец! Утро настолько прелестно, что было бы грешно его проспать.

^б Фонтан в Петергофском парке.

И Николай быстро стал спускаться по лестнице вниз. Вдруг он пристальным и острым взором взметнул к лицу Долгорукого.

— А propos! ⁷ Я и забыл, — проговорил Николай с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего. — Хорош ты, мальчик: оказывается, ты у меня людей давишь?

Застывшее в строгой почтительности лицо Долгорукого мгновенно преобразилось в изумлённое.

— Как это, ваше величество? Я не понимаю.

— Что ты прикидываешься невинным? — уже повышая голос, крикнул Николай. — Ведь ты был третьего дня в Петербурге?

— Был, ваше величество.

Брови у императора шевельнулись и сошлись, проложив на лбу складки. Мгновенный, от которого вздрогнул угол рта, живчик сбежал по щеке.

«Первый в империи дворянин, — шевельнула усмешку знакомая и всегда раздражавшая мысль. — А струсил. И врёт, врёт. Холуй, хоть и Долгорукий.»

— Князь Долгорукий, — закричал Николай, разгневанный и страшный, — вы забываете, что я не люблю вранья!

— Я не осмелился бы докладывать неправду вашему величеству.

— Что ж вам угодно? Чтобы я приказал произвести формальное следствие?

Глаза сощурились, смотрели презрительно и торжествующе.

— Как милости прошу, государь, в полной надежде, что оно оправдает меня в глазах вашего величества! — воскликнул Долгорукий.

— Хорошо, — отрывисто бросил Николай. — Хорошо. Но берегитесь, князь Долгорукий, не было бы вам худо.

И, отвернувшись, быстро отошёл прочь.

— Немецкое отрепье! Бригадир! — задыхаясь от стыда и возмущения, пробормотал Долгорукий. — Меня, как школьника! Во лжи! Уличать вздумал, чухонский ублюдок!

Он сердито дёрнул, словно хотел оторвать, золотой аксельбант, но, сейчас же поправив его и усмехнувшись, в обход, чтобы не встретиться ещё раз с царём, пошёл к дворцу.

Слишком ли был раздражён на Долгорукого государь (хотя до сих пор он выказывал ему самое искреннее благоволение) или сам оскорблённый Долгорукий всеми доступными средствами толкал это дело, но собранная высочайшим повелением комиссия уже к девятому, когда император вернулся с манёвров в Петергоф, представила ему своё заключение.

«По тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства, — доносила она, — оказалось, что означенная женщина действительно была задавлена экипажем флигель-адъютанта князя Долгорукого.»

— Знаете ли вы, князь Долгорукий, — даже привстав с кресел, закричал Николай, — что за такую вашу ложь вензеля могут слететь с ваших эполет? Да и сами эполеты могут последовать за вензелями.

Долгорукий покраснел до кончиков ушей, но глаз не отвёл и ответил твёрдо:

— Ничего в этом деле не понимаю. Но только смею уверить ваше величество, как честный и благородный человек, — на предпоследнем слове князь сделал ударение, — что ничего подобного со мною не было.

У Николая сощурились глаза. Иронией он скрывал торжество, прорывавшееся в голосе:

— Так что же, второе следствие, что ли, прикажете назначить?

— Как будет угодно вашему величеству. Повторяю и клянусь честью, что ничего подобного со мной не случилось.

По высочайшему повелению было назначено второе следствие...

Вот эту-то вызвавшую при дворе много разговоров историю и рассказал своему

⁷ Кстати (фр.).

племяннику Исленьев.

V

Николай Павлович, в противоположность своему покойному брату, близких друзей не имел.

Когда ему доложили, чуть ли не в первую неделю царствования, что Аракчеев откровенно хвастает и показывает всем письма покойного государя, писанные ему из Таганрога, Николай резко и твёрдо дважды повторил:

— Дурак! Какой дурак!

Потом ещё раз быстро пробежал окончание скопированного письма: «...любящий тебя Александр».

Брезгливая гримаса покривила лицо Николая Павловича.

— А этому дураку, шуту и ханже дайте понять, что видеть его я не желаю, — сказал он, отодвигая от себя бумажку.

Очевидно, первый «дурак» относился не к Аракчееву.

Но Аракчеев был единственный, кого постигла царская немилость раньше, чем окончилось следствие по делу декабристов.

Александровские генерал-адъютанты только переменили вензеля на эполетах — сохранили свои посты, но уже всем было ясно, что у нового царя готовятся свои люди.

Николай считал себя незыблемым и чуть ли не единственным авторитетом во всех вопросах кавалерийской службы. Карьера одного кавалерийского генерала разом сломалась на возражениях на царские комментарии к книге Рошеймона. Формирование отдельного драгунского корпуса из полков состава, почти равного пехотным, несмотря на все возражения даже приближённых и доверенных, унесло горы золота, стоило жизни тысячам людей и кончилось ничем. Всем возражавшим и доказывавшим бессмысленность этой затеи следовал неизменный ответ:

— Ты не понимаешь. Это будет совсем новый род оружия.

Лицо у царя тогда принимало выражение самодовольного превосходства.

Но не только в вопросах кавалерийской службы Николай считал себя непогрешимым.

Розыск по делу декабристов в первые же месяцы царствования разрушил и перекроил привычное мирозерцание бригадного генерала. Шесть месяцев грызло сомнение: самодержец он или нет? Его или не его империя? Через шесть месяцев эти сомнения казались пустым ночным страхом. Никто лучше его не мог знать, что нужно делать. Верховная следственная комиссия работала медленно. С первого же дня он понял: того, что нужно ему, что мучает и не отпускает ни на минуту, она не откроет никогда.

Этих он уже не боялся. Они в руках. Из петропавловских казематов их не освободит никакой мятеж. А вот другие! Каждый день привозили всё новых и новых. Но разве всю Россию перевозить?

На заре тринадцатого июля, не позднее четырёх часов, должны были покончить с теми пятью, главными.

На двенадцатое в Петергофе был назначен ночной праздник.

Расцвеченная фейерверками, переливавшаяся разноцветными струями фонтанов ночь расплзлась, выцвела, словно её, как ветхую ткань, протравило туманом. Теперь, когда от сердца отлегла такая тяжесть, необыкновенно приятно и сладко было целовать в беседке чьи-то покорно отдававшиеся ему губы. Но вдруг царь выпрямился, оттолкнул свою даму и отошёл в угол. Ему показалось, что он слышит шаги жены. Но это только показалось. Он усмехнулся и снова выступил из тени. Приложенный к уху репетир глухо прошипел четыре.

«Первое сословие» больше не страшило. От прапорщика до генерала, от владевшего чуть ли не губернией магната до мелкопоместного дворянчика — все они были в руках.

О сосланном Пушкине ему намекали не раз ещё до коронации. Он улыбался всезнающей надменной улыбкой.

— Я примирю его с собой.

На пятый день после коронации состоялась «высочайшая резолюция» о привозе поэта в Москву «под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта».

Через месяц после беседы с поэтом в Москве, как-то на интимном вечере в Аничковом, обмолвился с самодовольной улыбкой:

— Пушкин будет моим хорошим подданным. Теперешние его стихи — залог тому. Надо уметь разгадать человеческое сердце.

Указ об учреждении Третьего отделения собственной его величества канцелярии был дан тоже вслед за коронацией.

Преданный Бенкендорф, без слов умевший понимать волю своего монарха, всё же попросил письменного указа, как ему действовать.

Тогда Николай Павлович, мечтательно и кротко смотря ему в глаза, взял со стола носовой платок, протянул его со словами:

— На. Им ты утрёшь слёзы.

И улыбнулся грустно.

Улыбнулся и Бенкендорф.

Бенкендорф вообще говорил мало. Речь его, особенно к подчинённым, походила на побывавшее в воде письмо. Одни слова размокли и исчезли бесследно, другие без всякой связи с предыдущими ещё проступали на бумаге. Поцыкивая и жуя губами, он ронял их с паузами, из которых каждая длилась не менее минуты. Для того чтобы разгадать, что он хотел сказать, требовалось тоже искусство.

С царским платком в руках, время от времени останавливаясь на нём взглядом и как бы черпая из него эти разорванные клочки мысли, Бенкендорф говорил некоему полковнику Дубельту:

— ...Утереть слёзы... Это хорошо... Рыцарски и благочестиво... Чтобы точно исполнялись законы, пресекать злоупотребления, следить... и следить... из-под руки... чище идея, крепче само существо. Папы тоже... *Ad maiorem dei gloriam*⁸... испанец Игнатий Лойола, испанец... В вас ведь, Леонтий Васильевич, тоже испанская кровь?

Бенкендорф пожевал губами, походил по комнате. Потом, останавливаясь против Дубельта, коротко сказал:

— Нужны люди, Леонтий Васильевич. Вам нужны. Себе я уже нашёл. Например — вас.

VI

В императоры Николая Павловича не готовили.

Старшие братья, Александр и Константин, жили, как будто раз навсегда позабыв, что они, то есть Николай и младший — Михаил, существуют на свете.

Только в 1846-м, когда Николаю шёл уже двадцатый год, старший брат как-то случайно вспомнил, что в образовании младших как будто чего-то и не хватает, и наспех отправил их в заграничное путешествие. Ни пристрастий, ни направления ума обоих великих князей оно не изменило.

Николай был твёрдо убеждён, что он неплохой бригадный генерал.

Но честолюбию бригадного генерала было поставлено слишком большое испытание.

Морозный декабрьский день леденел на окнах. Туман спрятал от глаз даже ближайšie дома. Дальше всего виднелся шпиль Петропавловского собора, но и его стёрла молочная, со всех сторон ползущая муть. Казалось, остался и существует один только дворец: всё остальное — город, завтрашний день, Россию — поглотил и скрыл туман.

Во дворце метались люди. Растерянные и испуганные генералы подбегали к нему, заплетающимся языком просили распоряжений, приказа. Он не слышал, не слушал, не

⁸ К большей славе Бога (лат.).

понимал.

Будто сердце стало железным и стучало таким оглушительным звоном, звенело в ушах: «...Не хотят?! Его?! Бунт».

Сжал кулаки, но только пустым, нестрашным гневом сверкнули глаза.

Смятённые, растерянные генералы всё ещё толпились в зале. В окне редел туман, выводя, как в волшебном фонаре, бледные, расплывающиеся очертания зданий. И всё ещё подбегали, словно торопил он их, словно этого только он и ждал, — спешили сообщить:

— Ваше величество, в Измайловском...

— Гренадеры...

— Московский... все четыре батальона...

— Гвардейский экипаж присоединился к мятежникам.

— С ним много людей из сорок второго флотского.

Нетерпеливо, словно всё давно уже ему было известно, отмахнулся. К окну, в туман, наметивший контуры зданий, устремил тревожный, мятущийся взгляд.

«Кто, кто поможет? На кого положиться? Кто вдохнёт мужество? Что сделать-то? В резервную колонну! Да разве послушают...»

А только, только ведь это и нужно. Тогда и без инспекторского смотра принял бы. После приказом по отдельным частям:

— Составить акты принятия.

«Скорей бы! Скорей бы кончилось! Господи!» Кто-то осторожно, боясь, должно быть, что и в этом не может быть правды, шепнул:

— Ваше величество, на преобращенцев можно положиться. Первый взвод вашей роты присягнул вчера в карауле.

Он посмотрел в глаза говорившему. По глазам увидел, что подсказывает, а сам не верит, что послушается, решится.

Перед глазами вдруг так ясно, как будто он всё утро думал только о том, проступила картина, сохранившаяся в памяти от детства.

Вот здесь же, в этом дворце, на покрытом парчю помосте стоял гроб.

Его, четырёхлетнего малютку, под мышки подняли проститься с покойником. Из золота, из кружев, из цветов, словно оно утонуло в них, показалось на секунду синее, курносое лицо. Кончик языка высовывался изо рта, распухший и тоже посинелый.

А брат?

Он с отвращением вспомнил сейчас всегда противное, не мужское и не бабье, какое-то без пола и возраста лицо. Всегда с улыбкой, приветливой и ласковой, а его от этой улыбки тошнило, — казалось, что брат прячет за нею смертельное отчаяние и ужас.

«Неужели и во мне эта паршивая, неизвестно кем влитая кровь? — с отвращением и тоской подумал Николай Павлович. — Вон у бабки не сорвалось. Решилась».

— Ваше величество, — терзая его, шепнул кто-то, наклоняясь к самому уху. — Решайтесь. Немыслимо и погубительно дальнейшее промедление.

Если б он мог решиться!

Ещё раз, зная наверное что не встретит ни одного взгляда, который помог бы, вдохнул в сердце мужество, глазами обвёл зал. И вдруг...

Николай с минуту смотрел на младшего брата, как на чудо.

Этому можно верить. Этот не предаст, не оставит. Брат. Не такой, как те, курносые, белобрысые, — Миша, друг и товарищ детства, всем — от лица до голоса и жеста — похожий на него.

Он решился.

На улице туман разределся совсем. Падая крупными и редкими хлопьями снег. Караул выбежал в ружьё. Заметил только, что сапёры, не поглядел, как это делал всегда, по форме ли одет офицер и как быстро построились. Он даже не узнал своего голоса, так неуверенно и хрипло заговорил с ними:

— ...Вам доверяю... сына... берегите наследника.

Караул рывкнул:

— Рады стараться, ваше императорское...

Нет, нет, не разобрал: величество или высочество, только от этой отчётливой быстроты что-то сдавило глотку, дёрнулся угол рта. Снежинки мелькали, плясали в воздухе.

И тогда Николай, опять не узнавая своего голоса, наклоняясь с коня и пропуская один за другим мелькавшие перед ним ряды запорошенных снегом киверов, закричал:

— Преображенцы, хотите меня государем?

Иначе как спросить? Разве солдат спрашивают? В первый раз — и пусть будет в последний.

— Желаем, желаем, — нестройно и вразбивку послышалось в ответ.

Казалось, это вернуло мужество бежавшему впереди капитану. Он гаркнул:

— Смирно-о-о!

Команду приняли. Подтянулись ряды. Как чугунный, запечатал по мёрзлой земле шаг.

— Государю императору...

От раскатистого, громкого «ура» Николай Павлович вздрогнул, как будто в него полетели комья снега.

Вслед за бодро шагавшей «государевой», отныне его ротой, бросив повод, проехал он шагом на площадь Сената.

Поздно вечером из дворца были видны костры на Неве. Это рубили проруби и в них свозили трупы. У костров на улице грелись патрули. Во дворце всю ночь горел свет. Император всю ночь допрашивал арестованных, которых доставляли прямо сюда...

Не так-то просто было пройти через эти первые месяцы.

Незнакомое и странное смотрело на Николая Павловича лицо, когда он подходил к зеркалу, но это лицо ему нравилось. Тогда его выражение не было постоянным, только через шесть месяцев, когда было покончено с декабристами, оно приняло на себя маску грозной и невозмутимой величественности. В гневе у Николая темнели глаза, тяжёлым и страшным становился взгляд — само лицо, его античные, словно выписанные на музейном холсте черты искажались редко.

То там, то здесь в империи вспыхивали костры мятежей, бунтовались помещицы и казённые крестьяне, солдаты в военных поселениях, работный люд на казённых рудниках и заводах. Какие-то безумцы дерзали осуждать его право. Кавказ упорно сопротивлялся русским завоевателям. Раскольники не признавали его царём, на ектении в их молельнях возглашалось здравие императору Александру.

На Кавказ один за другим уходили из империи корпуса, на Поволжье чиновники разрушали и печатавали раскольничьи скиты, насмерть забивали шпицрутенами державших усомниться в его царском происхождении. Но спокойнее от этого не делалось.

Этих, окружавших его, с трепетной готовностью кидавшихся исполнять каждое его приказание, он не боялся. Что ж, если что и таят? Пусть. Труднее было проникнуть в сердечные глубины Рылеева с братьей, а вот проникнул, раскрыл, победил. Страшило другое. У тех вот как выведать — многомиллионных, загадочных, непонятных.

Докладывая о бунте в Новгородском округе военных поселений, Бенкендорф очень осторожно, только намёком коснулся имевшегося у него жандармского донесения. В нём говорилось, что находящийся с бунтовщиками вместе некий кантонист народной молвой считается за побочного сына покойного императора Александра, и те так его и прозывают: «царёныш». Причина этой молвы якобы такова, что мать сего кантониста, поселянка Новгородского же округа, быв некогда в случае у графа Аракчеева, удостоилась обратить на себя внимание покойного государя. Всё это Бенкендорф изложил весьма и весьма осторожно, а изложив, даже перестал шевелить губами, зажав меж них, на всякий случай, кончик языка. Он ждал вспышки обычного в таких случаях гнева, молниеносного, уничтожающего взгляда. Но царь только усмехнулся многозначительно и весело. Потом поморщился.

— Враньё.

Среди дел предыдущего царствования ему как-то попала переписка по поводу неудачного сватовства его сестры, великой княжны Елены Павловны, за императора французов. О настроении московского общества в отношении к сему факту почт-директор Ключарёв⁹ доносил тогдашнему министру полиции:

Расположение мысли о нашей великой княжне, ежели б жребий пал быть ей невестой императора Наполеона, — имею долг неуклонно представить Вам со всею искренностью, что ни один голос, в краткое время, как я сказал, существования сего слуха не был приятным. Причина — недоверенность, далеко распространённая к намеревающемуся вступить в новый брак. Даже говорили, что Жозефина неплодна, а может быть, он сам таков, а потому, как прежде случалось, например, с Генрихом VIII и царём Иваном Васильевичем¹⁰ и прочими, последует развод за разводом по причине одинаковой. Что касается до первого в государстве сословия, оно может рассуждать глубже политически, хотя и тут, думаю, не найдётся много так мыслящих, а впрочем, по уважительному моему замечанию, причтут действия необходимости и угождению. Я не пропущу, если возобновятся слухи относительно нашей великой княжны, возможное узнать и уведомить в подробности Вас. А теперь всё замолкло, и, кажется, очень в покойном ожидании.

Можно приметить, что разводом дамы очень недовольны.

Улыбка ироническая и весёлая заиграла на губах, когда Николай Павлович прочёл это донесение. С брезгливой гримасой Николай Павлович отодвинул от себя папку. Больше уже не требовались во дворец дела, касавшиеся матримониальной дипломатии братнего царствования. Давнишняя и презрительная ненависть к нему самому нашла наконец своё выражение.

При встрече траурной процессии с его телом Николай Павлович жестом остановил катафалк, спешился, на глазах тысячной толпы опустился на колени прямо в снег. Чувство какого-то гадливого отвращения к самому себе, к этой лицемерной, ничтожной позе охватило его. Он чувствовал, как от подбородка до висков лицо заливают краска возмущения и стыда. Приложил к глазам платок. В толпе пронёсся почтительный шёпот. Безветренный морозный день сделал его таким явственным, как будто ему на ухо докладывали об удивлении и восхищении его порывом. Он не знал, что нужно делать дальше. Коленами сквозь лосины чувствовал ледяную жёсткость январского снега. Ноги ломило. Отвернулся, смотря в ту сторону, где на сизом небе редкой рассыпанной стаей летели чёрные галки и мутно серебрились пустые поля, поднялся с колен, не оборачиваясь, прошёл к ординарцу, державшему лошадь. Обернуться было противно и стыдно.

Пять лет спустя, в бане, в старом Зимнем дворце, парил его древний, как эта жаркая сырость, банщик.

— А ну-ка, старик, поддай.

Пар густым непроходимым облаком наполнял всю баню. Бледными радужными искрами просвечивали в нём огоньки свечей. Пот, горячий, как кипятки, катился по телу, а император всё требовал и требовал «поддать».

— Ох, ваше величество, и можешь же ты париться! — кряхтя над неизвестно какой по счёту шайкой, вымолвил банщик.

⁹ Ключарёв Фёдор Петрович (1754–1821) — член новиковского кружка «мартинистов», писатель, до 1812 г. занимал должность московского почт-директора, от которой отстранён губернатором Ростопчиным по подозрению в шпионаже, после войны «реабилитирован» и сделан сенатором.

¹⁰ Генрих Тюдор (1491–1547) — английский король с 1509 г., прославился бракоразводным процессом с Екатериной Арагонской, результатом чего стал церковный разрыв с римским папой. Царь Иван Грозный (1530–1584) известен конфликтами с многочисленными жёнами.

— А что?

— Да как же, третьего царя послал Господь парить, а этого видеть ещё не приходилось. Пар любишь: русский человек.

Николай тревожно насторожился.

— Это к чему болтаешь?

— Мыть ваше величество — сердце радуется, — не спеша и с задышкой заговорил старик. — Эно, тело какое! Пару не боишься, значит, и страстью своею вполне владеть можешь. Богатырь... эх, да что говорить: настоящих людей наделаешь...

Старик чего-то недоговаривал, но и от сказанного, больше чем от жаркого пара, чем от этих так любовно и нежаше скользивших в мыльной пене по его телу рук, морящая сладкая истома, как дурман, подступила к голове.

Он мог бы ещё похвастаться, что в это же время, невзирая на свои сорок лет, как двадцатилетний поручик, не перестаёт волочиться и изнывает от влюблённости, не оставляя в покое ни одной хорошенькой женщины. Желанием император дорожил больше, чем его осуществлением. Влюбляясь, изменяя жене с искусством, которому позавидовала бы любая ветреница, он переживал волшебное, ни с чем не сравнимое чувство. Как будто слетали с плеч годы, не тяготили сердце никакие тайные мысли и подозрения. Лыстило и толкало к каждому новому увлечению ещё и другое. Он знал — и в этом крылось тоже ни с чем не сравнимое наслаждение, — что к нему тянутся, ему отдаются восторженно и ревниво не только потому, что он император всероссийский, а и потому, что красив, строен, умеет внушить и любовь и восторг к себе.

Любуясь собой и перебирая в памяти ощущения, которые оставались от той или другой встречи, он в разнице поступков и приёмов как будто разгадывал причину всегда удивлявшего несходства со старшими братьями.

Раз в Петергофе во время утренней прогулки вслух вырвалась фраза:

— Если бы я мог проникнуть в тайну собственного рождения, я бы основал новую династию.

В парке он был совершенно один, но после этого три дня испытующе и подозрительно присматривался к лицам придворных. Постоянно страшило, что окружающие смогут прочесть это в сердце. И вот, скрывая от всех, стараясь скрыть и от собственных глаз, как страшную, позорную слабость, в конце концов убедил, заставил поверить и себя, что он и Россия, он и держава — синонимы, нераздельное общее, видел в себе живое воплощение грозной и величественной идеи монарха в этот пустой и развращённый век.

На докладах нетерпеливым жестом отстранял, если ему пытались выложить на стол карту той или иной части его владений.

— Не нужно. Знаю и так. Это у меня в голове.

Не отдернул руки, когда законный монарх, молодой австрийский император, припал к ней с благодарным поцелуем. Незаконного, Луи-Наполеона, во всю жизнь ни разу не назвал «мон frere», как это принято в переписке между монархами.

В 1849 году, в Варшаве, вскоре после венгерского похода, вернувшего Австрии восставшую половину империи, бурно и долго распекал по какому-то поводу одного из своих генералов. Тот выскочил из кабинета весь красный и возмущённый. Обида вырвала из сердца пророческую фразу:

— Всё кончено. С такими понятиями, с такою уверенностью в собственной непогрешимости можно вести свою державу только к гибели.

И он её привёл, завещав, умирая, сыну совершенно бессмысленное:

— Пусть не любят, только б боялись. Не дай постичь им, забраться к тебе в сердце. Тогда России не быть.

VII

— Блазонировать, то есть описать герб словами! Но для этого нужно хоть немного

быть знакомой с геральдической терминологией. В сущности, я бы мог доказать тебе, что у Романовых, хотя наш *grand souverain* и считает себя первым дворянином, герба, в строго геральдическом смысле, нет. То, что они считают своим гербом, совершенно грубая и плебейская подделка. Мифический рыцарь Гланда Камбила¹¹, буде такой и существовал (я не знаю, откуда они его выкопали), какое же он имеет отношение ну хотя бы к теперешнему императору? Ведь уже в Павле не было ни капли романовской крови. Мы, Долгорукие, Наташа, может быть, единственные вообще в империи, кто может похвастаться совершенной чистотой своего герба. А это существенно, очень существенно, Наташа...

Князь вдруг замолк.

В комнату неслышно вошёл лакей, приблизился к чайному столику, безмолвно спросил глазами — можно ли убирать, и так же неслышно удалился.

— Довольно странные приёмы у твоих людей появляться, когда их не кличут, — улыбнувшись, заметила сестра.

— Что поделаешь, такова вся дворцовая прислуга: развязна, упряма, самостоятельна. Своих я всех отослал от себя. После этой истории, право, начинаешь бояться, когда тебе прислуживают твои крепостные. Эх, время, время! Флигель-адъютанту грозят разжалованием за враньё его пьяного кучера.

И князь притворно вздохнул.

— Но я всё-таки ничего не понимаю, — быстро заговорила Наташа. — Почему ты не попросишь отставки? Ведь это же оскорбление. Это непереносимо, а ты сидишь, как арестованный, как будто и в самом деле в чём виноват...

— Меня никто не задерживает, — устало перебил её Долгорукий. — Я сам не хочу выезжать. Чего доброго, ещё подумают, что я подкупаю следствие.

— Как это всё глупо и противно! — воскликнула она. — И только подумать, что десять лет назад люди дерзали мечтать о какой-то свободе, а теперь — кроме смирения тебе нечем и ответить на оскорбление.

Князь, чуть-чуть поморщившись, рассеянно перевёл глаза от её лица к окну.

В густой зелени парка проблескивало вечернее солнце. Золотая крыша дворца казалась озером расплавленного и сверкающего металла, окружённого пышной зеленью. Где-то за пределами этого блеска и этой зелени хрипло и нескладно начинала и срывалась всё на одной и той же ноте труба.

Князь отвернулся от окна.

— Местопребывание двора, русский Версаль! — проговорил он брезгливо. — Упражнения музыкантской команды улаживают слух русского императора. Очевидно, с таким расчётом и казарму построили, в двух шагах от дворца...

Протяжный и низкий звук, которым непрестанно тревожилась тишина за окном, вдруг сорвался высокой, пронзительной нотой. Князь, морщась, словно от зубной боли, заткнул пальцами уши.

— Не знаю, не знаю, Натали, — проговорил он через минуту и, иронически улыбаясь, взял с откидного столика книжку. — Может, вот это. Месть.

— Что это такое? — рассеянно любопытствовала Наташа.

— Тут есть поэмка какого-то Лермонтова. Должно быть, это тот самый лейб-гусар, который так преуспел с прошлого года в свете. Это августовская книжка «Библиотеки для чтения».

— Покажи, — она взяла из рук книжку. — Где это?

— На восемьдесят первой странице. Называется «Гаджи Абрек». Это, пожалуй, плохо, что слишком здесь много крови, но вот что здесь обходятся без модной роковой любви, да ещё одна мысль — это мне нравится. Хочешь, я тебе прочту?

— Пожалуй, — улынулась Натали и протянула книжку.

¹¹ Гланда Камбила — один из легендарных предков Голштейн-Готторнского дома.

Князь аккуратно разогнул и разгладил страницы, слегка задыхаясь и нараспев прочёл:

Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто всё похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любви
И только хочет слёз да крови!..
В нём утешенье для людей,
Когда умрёт другое счастье;
В нём преступлений сладострастье, —
В нём ад и рай души моей.

— И дальше, дальше. Послушай, Натали. Это совсем уж неплохо.
Князь заметно оживился.

— Ну вот:

...Давно
Тому назад имел я брата;
И он — так было суждено —
Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою, —
Как зверь лесной, — врага не зная.
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесён был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О, нет,
Он что-нибудь да в мире любит.
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит».

— Нет, это действительно хорошо: и тонко, и глубоко. «Найду любви его предмет, и мой удар его погубит». А? Ну, что ты скажешь, Натали?

— Я бы не хотела стать предметом каких бы то ни было чувств такого страшного юноши, — ответила она с улыбкой.

Натали поднялась с кресла, подошла к князю и, опустив на плечо руку, рассеянно заглянула в раскрытую книжку. По губам скользнула весёлая усмешка.

— «...По мне текут холодным ядом слова твои». Это я здесь читаю, Владимир, — смеясь, пояснила она. — Но мне пора. Я и так слишком долго разделяла твоё заключение.

— Уже? Ну, благодарю, что не забываешь. Постой, я прикажу, чтоб подавали.

Почти в тот же момент, как он дёрнул сонетку, у дверей выросла фигура лакея.

«Что они, подслушивают, что ли?» — досадное метнулось в голове, но сейчас же оно забылось, оттеснённое отъездом Натали, непрерывающейся и горькой чередой мыслей.

VIII

И неясное, многим почему-то казавшееся загадочным и таинственным дело о задавленной первого июля у Московской заставы женщине, и совершенно очевидное, ввиду

полного сознания самого преступника, дело о покраже на даче гвардии генерал-майора Исленьева тянулись с одинаковой медлительностью и одинаково долго.

Высочайшее повеление о создании второй следственной комиссии по делу, в сущности совершенно ничтожному и пустяковому, привело даже мало чему удивляющегося Дубельта в смущение.

— В чём тут секрет? — в сотый раз задавал он себе один и тот же вопрос, просматривая листы тощего «дела», в котором, в сущности, и искать было нечего.

Ездящий в кучерах у князя Долгорукого крепостной его человек Трифон, иного прозвания не имеющий, с трёх расспросов показывал слово в слово одно и то же.

Первого июля, въезжая с князем в Московскую заставу, сшиб он лошадьми женщину неизвестного звания, а так как был выпивши, то на крик полицейского не остановился, ударил по лошадям и умчался. Чего ж тут искать?

Дубельт попробовал было осторожно выведать причину такого необычайного внимания государя к этому пустому происшествию у своего шефа.

Тот, по обыкновению, только пожевал губами, промычал что-то совершенно невразумительное и только, по крайней мере через четверть часа, когда уже выслушал о многом другом, раскачался сказать:

— М-м-м... Леонтий Васильевич... Никакой интриги здесь нет-с... Да. Только, только... государю благоугодно знать самую сущую правду. Ибо флигель-адъютант его величества солгать не может, а раб его упорствует в своём показании. Это надо выяснить. Нам не найти правды — стыдно-с.

«Ничуть не яснее. Только вот разве самый кончик. Долгорукого хотят очернить, государь противится. Кучер — ясно — подкуплен».

Секретные донесения, которые имелись у Дубельта, ничего противного правительству или лично государю за князем Долгоруким не устанавливали, личных врагов у него тоже как будто не было, и тогда, окончательно решив, что дело это весьма трудное и щекотливое, Дубельт со всем рвением и в точном соответствии с указанием своего шефа приступил к нему.

Как и следовало ожидать, в Петербурге, оказался ещё один князь Долгорукий, того же первого июля через ту же Московскую заставу въехавший в столицу. Вызванный в Третье отделение застенчивый, болезненного вида юноша даже и не думал отпираться. Отпущенный из Царскосельского лица на каникулы, он ехал в экипаже своего дяди графа Шереметева, который его и воспитывает, в Петербург. Проезжая Московскую заставу, кучер его по неосторожности сшиб какую-то женщину, но, очевидно боясь ответственности, не остановился, а, наоборот, погнал лошадей. Сам же он молчал до сих пор об этом происшествии единственно только потому, что его никто об этом и не спрашивал.

Молодой князь был любезно отпущен с лёгким упрёком — как же это вы так, до сих пор молчали, а у нас тут целая история вышла! — а кучер Шереметева взят в арестантскую, но уже при Третьем отделении.

Заседание комиссии Дубельт открыл кратким, но многозначительным вступлением:

— Господа, вам небезызвестна вся важность возложенной на вас обязанности. Из одного того факта, что по происшествию, в сущности весьма ничтожному, по высочайшему повелению ныне открывается вторая следственная комиссия, вы уразуметь можете, насколько его величеству угодно знать сущую правду по этому делу...

Серьёзные и строго вытянувшиеся лица господ членов должны были показать их полную готовность к выяснению этой «правды».

— Так-с, — оглядел присутствующих Дубельт и приказал ввести обвиняемого.

Первым был приведён кучер Долгорукого.

Он с отчаянием бросался на колени перед столом, за которым сидели строго взиравшие на него господа, бил себя кулаками в грудь и слово в слово в четвёртый раз повторил давно известную историю о том, как ехали они с князем, как был он выпивши, а потому, опрокинув лошадьми какую-то женщину, не сдержал, а погнал их ещё того пуще.

— Хорошо, — прервал его Дубельт и с тихой усмешкой приказал ввести второго обвиняемого.

Этот вошёл с испуганно-обалделым видом, как вкопанный остановился перед столом.

— Как тебя зовут и у кого ты служишь? — строго обратился к нему Дубельт.

— Дворовый человек его сиятельства графа Шереметева, а зовут Фонькой, — потупясь, словно стыдясь такого признания, ответил спрашиваемый.

— Хорошо, хорошо.

Торжествующая улыбка всё больше кривила рот Дубельта. Едва касаясь одной рукой о другую, он потёр их и, самодовольно улыбаясь, стал спрашивать дальше:

— А скажи-ка, любезный, не ездил ли ты когда в Царское Село и не возил ли кого оттуда? Этим летом, конечно. И когда это было в последний раз?

— Кажись, в июле, — всё так же испуганно смотря на генерала, сказал шереметевский кучер. — В июле, должно быть, и будет последний раз, как ездил. За князем Долгоруковым, племянником нашего графа, ездил, В тот же день и назад обернулись.

— Так, так. Вёз князя Долгорукого, Хорошо. А не помнишь ли ты, не случилось ли с вами чего, как въезжали в заставу?

Дубельт пристальным, неотрываемым взглядом смотрел в бледное, растерянное лицо шереметевского кучера. Минуту в комнате царило гробовое молчание. Вдруг тот, широко взмахнув руками, словно он собирался улететь, рухнул на колени. Крик, сильный и глухой, казалось, застрял у него в горле.

— Виноват, ваше превосходительство, бабу какую-то я смял тогда лошадьми.

Дубельт торжествующим взглядом — ну, вот, видите, как выходит, когда я берусь за дело! — обвёл присутствующих. Потом с улыбкой взглянул по очереди на каждого из кучеров, сказал:

— Как же это так, ребята? Женщина задавлена одна, а вас, охотников до неё, двое.

За столом переглядывались удивлённо господа члены комиссии, преступники недоумённо и тупо смотрели один на другого. Долгоруковский Трифон не выдержал первый, с шумным вздохом рванулся с места, шагнул к столу. Казалось, вздох оторвал целую полосу времени.

— Дозвольте, ваше превосходительство, я вам теперь расскажу, отчего я женщину-то задавил, — выговорил он неожиданно твёрдо и громко.

— Ну, рассказывай.

— Армяк дозвольте только наперёд скинуть.

— Это ещё зачем?

— А вот затем, ваше превосходительство, что я вам рубцы эти показать должен.

И, не дожидаясь разрешения, широким и проворным жестом стянул с плеч армяк, засучил рукава рубахи.

— Вот, господа генералы, как мне в полиции руки верёвками крутили да силком учить заставили ту сказку. Э, да что говорить про верёвки! — Он и рукой и головой тряхнул так, как будто для него уж ничто больше не существует на свете. — Нашему брату это дело привычное. А вот они мне вольную обещали да тысячу рублей награды, если на суде выдержу, — так за это и чужого греха взять на душу не побоишься. И пытку стерпел, и на допросах словом не обмолвился, да вот... эх, вижу, всё не под меня подстроили... а волюшка кабы...

Дубельт вдруг забеспокоился. Лицо стало сухим и деловитым. Он резко застучал карандашом по столу, требуя, чтобы Трифон молчал, потом, приказав увести обоих арестантов, с короткой усмешкой бросил сидевшему рядом с ним жандармскому капитану:

— О таковой преданности господину своему нелишне будет поставить в известность князя Долгорукого.

И, поймав неукоснительно понимающий взгляд капитана, заговорил, обращаясь к членам комиссии:

— Ясно, господа, не правда ли? Санкт-петербургская столичная полиция, не сумев

задержать виновного, справляется по караульной книге на заставе: кто проехал? Князь Долгорукий. Отлично. Значит, экипажем сего князя и задавлена бедная женщина. А раз так, то нечего и исследовать. Счастье, господа, счастье без преувеличения для общества и всех верноподданных, что волею нашего правдолюбивого монарха учреждено ныне Третье отделение собственной его величества канцелярии. Таковое небрежение к своим прямым обязанностям и откровенное попустительство лености подчинённых могло, как вы видели, отразиться на безупречном имени достойного и приближённого к государю человека. Этого в просвещённом государстве быть не должно и, я вас заверяю, не будет.

IX

В Гостином дворе печатавали книжные лавки.

Мелкий, как пыль, октябрьский дождь матовым блеском оседал на жандармских касках. Сальный огарок задувало ветром, и мокрый сургуч ни за что не хотел разгораться. Жандарм неуклюже возился возле двери, стараясь приклеить печать. На подводе, ничем не накрытые и сваленные в беспорядке, мокли пачки книг. С почтительного расстояния наблюдавшая за всем этим небольшая кучка гостинодворских молодцов и просто случайных прохожих обсуждала и то и другое:

— Ишь дело какое, — купцу, чай, убытки от этого большие.

— А поделом: не торгуй чем не надо.

Жандарм, возившийся у дверей, наконец приложил печать. Его начальник внимательно осмотрел её и, кутаясь в шинель, взгромоздился на дрожки. Загромыхала по камням подвода.

— Ну, слава тебе, Господи: управились. С Богом, везти вам — не растрясти, — напутствовали из толпы.

— А вот, братцы, что говорят, — неизвестно к кому обращаясь, сказал какой-то парнишка, когда подвода и жандармы на дрожках отъехали на приличное расстояние. — Будто теперь переодетые жандармы в самом разном народе вертятся и всё, что подслушивают, куда надо доносят. Может так быть, по-вашему?

Расходиться явно никому не хотелось. Пять или шесть человек потеснее сбились в кружок возле парнишки. Высокий, худой старик в чуйке и картузе авторитетно отрезал:

— Брехня.

Ему сейчас же наставительно возразили:

— Нет, отец, вовсе это не брехня. Теперь у них вот как положено. Берётся какой-нибудь человек, ну, хотя бы ты, к примеру, и строго-настрою ему приказывают, чтоб об этом даже попу на исповеди слова не промолвил бы. А велют тебе тереться среди людей своего звания и разные разговоры подслушивать, а что подслушал — сейчас же доложи, и за это тебе деньги платят. А ты как был, так и останешься при своём месте и никому, кроме тебя да их, не известно, в какую службу ты у них определился.

В толпе поддержали:

— Так, так. Вот и то говорят, что теперь слово сказать опасно — заберут.

— Ну, это не всякое. Лишнего только не болтай, а так разговаривать можно.

— Да, можно. Вон намедни солдат какой-то из тех, кому теперь в отставку срок вышел, стал хвастать, как их в службе обидели, так что ж ты думаешь: сидит теперь под арестом, а в кабаке-то никого постороннего не было. Да ещё теперь, говорят, такое ему будет, что и выдумать страшно.

— А ты почём знаешь?

— Мне это, как его, крёстный мой сказывал. Он в сторожах в этом самом отделении, что у Цепного моста помещается, служит.

— Ну, тогда, может, и правда.

Это и на самом деле было правдой. Вечером того же дня в Михайловском манеже был обычный царский смотр бессрочно отпускаемых от гвардейских полков.

Царь прибыл только в восьмом часу.

Густой, как запекающаяся кровь, отблеск смоляных факелов переливался неверным светом и отступал перед мохнатыми тёмными сумерками.

Царь, как вошёл, порывистым широким шагом устремился вдоль фронта, поздоровался, уже пройдя половину, негромко, отрывисто и сердито. На минуту остановится выслушать ответ, ногой по песку отсчитал такт и только после этого продолжил обход. На левом фланге круто повернул обратно, отошёл от неподвижно застывших с устремлёнными на него глазами людей.

— Ребята, — раздался в мёртвой тишине его грудной и низкий голос, — ребята, солдат русского царя не может быть негодяем. Моя гвардия таких среди себя не потерпит. Так или нет, ребята?

— Точно так, ваше императорское величество, — гулко и слитно, по слогам, как будто кто-то дирижировал из-за спины царя, пронеслось под сводами.

— А вот нашёлся один, — продолжал Николай, всё повышая и повышая голос. — Он был среди вас, он и сейчас с вами...

Голос всё возрастал и твердел. Отдельные ноты, словно они стали металлом, не таяли, вибрировали и гудели где-то высоко под самыми сводами манежа.

— Ребята, я вам отдаю его на суд. Вы лучше меня присудите ему наказание.

Вдруг голос оборвался. Низким и гулким клокотаньем припал к земле.

— Кто вздумал болтать, что я незаконно держу по второму сроку? — выговорил Николай. — Кто?! Три шага вперёд! Марш!!!

Один миг царю казалось, что вся неподвижной стеной замеревшая масса дрогнет, сжимающее кольцо поползёт на него. Но нет, только один, высокий павловец с посеребрёнными бакенбардами, прямым, печатающим шагом, не дрогнув, вышел из фронта.

— Ты?

Император приблизился к нему медленно, большими, надолго пристававшими к земле шагами. Свита почтительно и осторожно старалась отстать.

— Ты?

Рука поднялась ударить, но не выдержал взгляда, быстро отвёл глаза, ими успел поймать на груди серебряный равноконечный крестик, рванулся, сорвал его, бросил наземь.

— Говорил, что против закона? Говорил?

— Так точно, говорил, — отдельно и чётко прозвучал ответ.

Император вскинул голову, глазами обводя фронт, опять певуче и звонко прогремел:

— Вы судите. Что присудите, так и будет.

Николай выждал паузу. Потом опять, ещё повысив голос, спросил:

— Что делать с ним? Говорите. Вас спрашиваю.

Ответа ждать не стал, рванулся к одиноко стоявшему перед фронтом солдату, потрясая кулаком, прохрипел:

— Против закона?! Закона не узнал за тридцать лет?! Я выучу! В службу! Опять! Без срока, на выслугу!

Павловец стоял неподвижно.

— Не в гвардию! — кричал царь. — Паршивую овцу из стада вон! В гарнизон! В Сибирь! Правильно это, ребята?!

— Точно так, ваше императорское величество, — не сразу и глухо, как будто придавленное чем-то тяжёлым, раздалось под сводами.

Х

Малообременительная должность и снисходительное баловство дядюшки окончательно развратили Евгения Петровича. Но, сказываясь по три дня в неделю больным, а то и вовсе не появляясь на службе всю неделю, он тем не менее отнюдь не приписывал этого лени или распушенности.

До сих пор в той беспечной жизни, которую вёл благодаря дяде Евгений Петрович чуть

ли не со школы, недоставало чего-то самого главного, самого важного.

Как от сна, во рту оставался густой и неприятный привкус в его воспоминаниях о пережитом. Он попробовал перебрать в памяти свои прошлые увлечения, — ему делалось противно и скучно. Все они — дворовые ли девушки, польские ли панны, не устоявшие перед молодым и красивым представителем победоносного русского оружия, провинциальные ли скучающие красавицы, от тех же самых качеств терявшие голову, цыганки из Новой Деревни и подарившая своей мимолётной благосклонностью одна светская дама — все они, одинаково хранимые памятью рассудка и не хранимые памятью сердца, представлялись теперь почти ненавистными.

Писал он в дневнике:

Можно ли верить женщинам, с такой лёгкостью, в результате ничтожных усилий, достающим тебе? Я оказался бы в собственных глазах презренным, если бы одной из них открыл все тайники своих чувствований, позволил бы безудержно излиться кипящему во мне. Завтра так же легко, как ко мне, придёт она к другому, и то, что ревниво хранил от всего мира, станет предметом насмешки и унижения от нового любовника.

С мечтами о той, которой будет открыта самолюбивой подозрительностью сохранённая от её предшественниц страсть, засыпал Самсонов. Смутная тоска о неизведанном и возможном наслаждении приходила вместе с пробуждением. Ревнивую зависть и страдание будил один только вид счастливой супружеской пары, и, каждый раз невольно или намеренно делаясь соучастником обмана любящего и счастливого мужа, он ощущал в себе горькую и злобную радость. Тоска о невозможной — он не верил, что таковая возможна, — тоска о невозможной, безраздельной любовной преданности отравляла мечты, портила характер.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович!

За дверью настойчиво и вместе с тем осторожно, уже не в первый раз, окликнули его по имени. Он не отозвался.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович, вы наказывали вас разбудить в восьмом, а сейчас девятый.

— Чего ж ты раньше думал?! — сразу раздражаясь, крикнул Самсонов.

— Да я, поди, более часу около вас стою, никак не добужусь только, — сказал Владимир, входя в спальню. — Шторки поднять прикажете?

За окнами висела плотная завеса густого тумана, на стёклах причудливым узором разметался мороз. Серые жидкие тени, которые поползли в комнату, сделали её неуютной и холодной.

Поёживаясь, Евгений Петрович медлил скинуть с себя одеяло.

Владимир стоял у постели с халатом и носками в руках. Ухмыляясь и с напускным равнодушием проговорил:

— Михаила Ивановича-то нашего, дворецкого знаменитого, сегодня в Сибирь отправляют. Сбили наконец партию. Наши ребята смотреть бегали. Смешно-с, Евгений Петрович.

— Что смешно-то? — освобождая из-под одеяла ноги и протягивая их Владимиру, спросил Самсонов.

Владимир с проворством стал облекать барские ноги в носки.

— Полюбовница-то его, Михаила Иваныча то есть, — заговорил он уже другим, развязным тоном. — Чай, помните, тогда же всю у ней покраденное нашлось. И красивая же баба, скажу я вам, Евгений Петрович, смотреть прямо невозможно, а вот, подите, на каторгу за ним идёт. Какая приверженность!

Самсонов только криво усмехнулся, опуская ноги в подставленные туфли.

Что-то похожее на зависть к этому уличённому, ошельмованному, ссылаемому в

Сибирь солдату кольнуло сердце.

— Сама? По своей охоте? — спросил он, и голос самому показался глухим и непохожим на всегдашний.

— Сама, сама, Евгений Петрович. Дарьей её зовут, а по отцу Антоновна. Видная баба, то ли из мещан, то ли солдатка, бельё она на чиновников стирала, а денежки у ней, говорят, водились. Ну, да в Сибири их живо порастрясёт. А нашему-то Михаилу Ивановичу хоть бы что: всё таким же волком на людей смотрит, хоть и полголовы обрил...

— Давай скорей умываться. Проспал по твоей милости, — нетерпеливо и сердито перебил его Самсонов.

Сегодня он обещал дяде получить из Главного штаба необходимую тому справку.

Через час исленьевские кровные рысаки с места подхватили и помчали его по Большой Морской. Меньше чем через три минуты, чуть слышно звякая цепляющимися за полсть¹² шпорами, он выскочил из саней и, бросив кучеру: «Жди», — вошёл в подъезд Главного штаба.

В Главном штабе после долгих блужданий по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам, после десятка не по адресу и без пользы вопросов и обращений ему наконец удалось добиться, что лучше всего переговорить об его дате с делопроизводителем какого-то там отделения Владимиром Петровичем Бурнашёвым.

Евгений Петрович, расположившийся говорить с хамоватым чиновником, нелюбезным уже по одному тому, что ему выпадает случай пренеглизировать обращающегося к нему гвардейца, был крайне удивлён, увидав, с какою предупредительностью вскочил из-за стола навстречу ему румяный молодой человек.

— Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, присядьте. Через пятнадцать минут будет вам справочка. Никак больше задержать не посмеем, — суетливо сыпал он словами и почему-то ужасно краснел при этом. — Вы племянничек-с почтеннейшего Николая Александровича? Как же, как же-с, очень наслышан. Я, извините, сам человек не светский, — у Самсонова пробежала по лицу едва заметная усмешка, — но к людям и событиям, в свете случающимся, питаю живейший интерес. Как же, помилуйте, средоточие ума и культуры. Там определяется русло её течения...

Он называл по имени и отчеству людей, с которыми Евгений Петрович никак не мог допустить, чтобы он был знаком, хотя бы и некоротко, и все они оказывались у него «почтеннейшими», «милейшими», «добрейшими», «уважаемыми». Как будто он хвастался перед Самсоновым ёмкостью своей памяти, сумевшей сохранить не только имена, но даже какие-то сведения об особенностях характера и привычках их носителей.

— Я, изволите ли видеть, слегка пописываю, — меж тем вкрадчиво докладывал о себе Бурнашёв¹³. — Что прикажете делать, непреодолимое влечение к изящной словесности. Но сам-то я, Боже сохрани, отнюдь не дерзаю, — так, журнальные заметки, статейку какую-нибудь в крайнем случае, но только, не больше. Я даже своё маранье в «Северной пчеле» помещал, Там псевдоним у меня был весьма забавный: Пче-ло-вод. Тонко и верно. Стихи, стихи я главным образом обожаю. Вот-с, недавно ещё какой у нас поэт обнаружился! Огромнейшее дарование. Многие даже с Александром Сергеевичем сравнивать решаются. Но только, я думаю, это слишком. Талант безусловный, но всё же до Александра Сергеевича, конечно, далеко. В «Библиотеке для чтения» поэмки такой, «Гаджи Абрек»¹⁴, читать не

¹² Полсть (а также полость): 1) Кусок толстой и плотной ткани, войлока, меха и т. п., служащий подстилкой или покрывалом. 2) Покрывало для ног в экипаже.

¹³ Бурнашёв Владимир Петрович (1812–1888) — начинал как журналист, позже писатель, автор воспоминаний о Пушкине.

¹⁴ «Гаджи Абрек» («Хаджи Абрек») — первая из опубликованных поэм Лермонтова (написана в 1833 г.).

изволили? Некого корнета, по фамилии Лермонтов, называют её сочинителем. Большое будущее у человека, скажу я вам, если это так.

Лермонтов? Что-то неприятное почудилось Евгению Петровичу в самом звуке этого имени, но что — он так и не мог вспомнить.

— Скажите, — не очень любезно оборвал он Бурнашёва, — вам так хорошо известны все подробности, касающиеся любой приметной особы. Может, вам было бы проще дать желаемую мною справку на память, нежели искать её в архивах?

Против ожидания, Бурнашёв не оскорбился несколько, наоборот, он только ужасно смутился и покраснел ещё больше.

— Сейчас, сейчас, одну минуточку, — засуетился он, привскакивая с места. — Вот, изволите ли видеть, уже несут. Ну, теперь всё в порядке. Я для вас даже специально на подпись к начальнику отделения сбегая. Одну минуточку.

И, как-то по-смешному приседая, он торопливо выбежал из комнаты.

Через пять минут в руках у Евгения Петровича была желаемая справка. Он сухо поблагодарил словоохотливого чиновника и поспешил откланяться.

— Очень рад-с, очень рад, что мог быть полезен, — пожимая ему руку, повторял тот. — Весьма польщён знакомством. Весьма.

«Чего доброго, ещё приедет с визитом», — досадливо подумал Евгений Петрович и, высвободив из его пожатий руку, вышел из комнаты.

Из Главного штаба он приказал ехать к Полицейскому мосту, где в кондитерской у Вольфа обещался встретиться с Мезенцевым.

Не назначать свидания дома у Евгения Петровича были свои соображения. Прошло целых три года, как они не виделись с Мезенцевым. Он очень опасался, что за такой долгий срок пребывания в провинции его приятель потерял то понимание требований хорошего тона, которое позволило бы им остаться на короткой ноге. Да и вообще, к чему теперь ему был нужен какой-то армеец, чего доброго ещё не постесняющийся, по праву прежней дружбы, попользоваться его гостеприимством? Вообще встреча с Мезенцевым представлялась маловероятной обязанностью.

У него шевельнулось досадливое и раздражённое чувство, когда тот с первых же слов поспешил сообщить, что уже есть положительное обещание об обратном переводе в гвардию, с такой же поспешностью стал перечислять всех, с кем он успел повидаться и кто по-прежнему остался к нему благожелательным.

«Как это мне интересно! — поморщившись, подумал Евгений Петрович. — Нет, он решительно похож на того говорливого чиновника».

— А вот ещё, — торопясь, очевидно, выложить решительно всё, говорил Мезенцев. — Я имею и на тебя виды. В одном близком мне доме готовится праздник — маскарад с оперным представлением и разные там штуки. Какое-то семейное торжество, кажется, серебряная свадьба, точно не знаю. Так вот, у младшей дочки хозяина заболел кавалер, а она должна была танцевать с ним в каком-то характерном танце. Я хочу ввести тебя с тем, чтобы заменить заболевшего. Ну, что ты думаешь? Уверяю, раскаиваться не будешь: дом исключительно приятный, а дочка прелесть.

— А что это за дом? — рассеянно спросил Евгений Петрович.

— Львовы ¹⁵. Отец — член Государственного совета, директор певческой капеллы. А сыновей ты, вероятно, знаешь, Один скрипач, ну, тот самый, начальник канцелярии Бенкендорфа; другой служит, кажется, в Павловском полку.

Евгению Петровичу не хуже, чем Бурнашёву, были известны связи всех петербургских фамилий. Семейство Львовых, помимо службы старшего сына, было связано с всеильным шефом корпуса жандармов и командующим императорской Главной квартирой ещё и давней

¹⁵ Львов Фёдор Петрович (1766–1836) — директор певческой капеллы, поэт, певец-любитель, отец композитора, автора национального гимна.

дружественной приязнью. Самсонов улыбнулся и с той высокомерной снисходительностью, которую он ещё до встречи определил в себе по отношению к бывшему приятелю, сказал:

— Ну что ж! Пожалуй, представь. Я согласен.

XI

Надежда Фёдоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступить на празднике в каком-то характерном танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но тем не менее ни в лице её, ни в манерах не было даже отдалённого намёка на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня её возраста. В том обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для лёгких бальных флиртов, для почти обязательного кокетства, как будто для неё не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами детских и невинных шалостей, и улыбалась она так, будто её совершенно не интересует — к лицу или не к лицу ей эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожно сторонится людей с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это-то, вероятно, и вызвало в нём нечто похожее на почтительное восхищение.

«Да, да. Вот такая, именно такая может быть по-настоящему преданной, — думал он не раз, возвращаясь от Львовых. — Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы...»

До конца он не решался выговорить даже и себе.

Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворной капеллы, их мастерское исполнение сразу придало холодок официальности празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный, стоял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращённый на этот раз в концертный, сверкал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, играли бриллианты и горели золотом мундиры. В первом ряду между Бенкендорфом и хозяином сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя лорнеткой, он чуть склонил набок голову, снисходительно слушал, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал и весь зал. Старик Львов, изогнувшись, засеменил вслед за ним. В дверях великий князь сделал общий поклон и вышел из зала.

— Сейчас наш выход, — шепнула Надежда Фёдоровна.

— Хорошо-с.

Самсонов смотрел не отрываясь на то место, где только что сидел великий князь.

— Пожалуйте. Ваш выход, молодые друзья, — шепнул, слегка подталкивая их к двери, Алексей Львов, распорядившийся концертом.

В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное.

Зал с эстрады показался изменённым и незнакомым. Десятки устремлённых на него взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене, казалось, только в нём одном можно было прочесть свою судьбу.

У Бенкендорфа шея не держала больше головы. Серо-пепельная от седины грива, казалось, росла прямо из золотого шитья эполет. Рядом лысый череп старика Львова отражал игру свечей. Сложные и медлительные па какого-то необыкновенного восточного танца, выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, всё же позволили Самсонову заметить кое-что из происходившего в зале.

Переноса через своё плечо руку Надежды Фёдоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами к кончикам её пальцев. Её глаза были почти рядом, голубые, по-детски удивлённые, сейчас они — или это только показалось — подёрнулись тёмной пеленой.

После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убеждён, что его

судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатье.

Разгримированной и сменившей на обычный бальный наряд свой маскарадный костюм Надежды Фёдоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похорошевшей и выросшей.

— Вы все танцуете со мной, — шепнул он торопливо не сказанное перед концертом приглашение.

Ответом была нежная и благодарная улыбка. В вальсе, проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо.

— Кто этот маленький гусар в углу за нами? — настораживаясь, спросил он у своей дамы.

Надежда Фёдоровна засмеялась.

— Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас. Этот кривоногий уродец, вероятно, потому и мнящий себя лордом Байроном, всем говорит ужасные дерзости. Кажется, он пишет стихи. Наверное, жалкий вздор.

Маленький гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова всё тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок и только придерживая рукой не прицепленный на крючок, как это делали все светские кавалеристы, свой громыхающий палаш, он неровным, припадающим шагом, по-английски, ни с кем не прощаясь, прошёл к выходу.

Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал ещё более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от струи морозного воздуха. Непридерживаемые полы шинели хлюпали на шаг.

— Сани корнета Лермонтова! — гаркнул жандарм у подъезда.

С противоположной стороны, от массы стоявших там экипажей, отделились и поплыли на свет две серые конские головы. Полозья с раската ударились о каменный тротуар.

— Домой прикажете, Михаил Юрьевич? — откидывая полсть, спросил кучер.

— Нет... А впрочем, пошёл домой, — махнул рукой Лермонтов и, запахивая шинель, стал садиться в сани.

На Мойке, в доме Ланского, занимаемом «гвардии поручицей Елизаветой Алексеевной Арсеневой»¹⁶, в верхних окнах был свет.

Лермонтов осторожно, стараясь не шуметь, сбросил в передней шинель, отстегнул палаш, спросил вполголоса: «Легла ли бабушка?» — и, стараясь ступать возможно неслышно, поднялся по лестнице наверх.

За дверью, из-под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотанье. Лермонтов толкнул дверь.

— Аким, ты почему дома?

Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы отбросил от себя книжку, вскочил с дивана.

— Мишель! — воскликнул он радостно. — Какой ты чудак, где же мне быть? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция из химии.

— А!

Лермонтов, по-видимому, был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошёл к столу, тронул лежавшую книжку.

— Что это? Химия? Тебе не надоело? Хочешь, перед сном одну партию в шахматы?

Юнкер с поспешностью кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, перья, бумагу, стал расставлять на доске фигуры.

— А ты где пропадал до сих пор? — спросил он с лёгким упрёком. — Бабушка долго не

¹⁶ Арсеньева (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773–1845) — бабушка Лермонтова со стороны матери, сестра деда реформатора Петра Аркадьевича Столыпина — Дмитрия Алексеевича.

хотела ложиться, всё ждала тебя.

По лицу Лермонтова пробежала печальная и жалкая улыбка.

— Бабушка очень огорчалась? — выговорил он глухо, словно с трудом. — Это очень нехорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорченья. Ну что же поделаешь, видно, такой уж я потерянный человек.

И тяжело вздохнул.

— Ну, давай. Твои чёрные?

Он отстегнул и сбросил с плеча ментик, опускаясь на диван, расстегнул шнуры доломана.

Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщицкой форме лейб-гусарского полка появился на пороге.

Лермонтов посмотрел на него строго.

— Вас нешто укараулишь, Михаил Юрьевич, — ухмыльнулся лакей, видимо, ни капли не смущаясь строгого взгляда своего барина. — Вы вон как кошка по дому ходите.

Лермонтов погрозил ему пальцем.

— А это что у тебя? Письмо? Чего ж держишь? Он почти выхватил из рук лакея письмо, поспешно разорвал конверт.

— Ну, ну, Аким, можешь думать сколько тебе угодно, — бросил юнкеру, принимаясь за чтение.

— Шах вашему королю, — торжествуя, воскликнул Аким и вдруг осёкся.

Лицо его партнёра вдруг страшно переменялось. С татарских выдающихся скул слетел весь румянец, побелевшие губы непрерывно подёргивались.

— Миша! Что с тобой, милый?!

— На вот, прочти, — задыхаясь, выкрикнул Лермонтов и бросил на стол письмо.

Затем он с шумом отодвинул, вскакивая с дивана, стол и выбежал из комнаты.

На доске зашатались и попадали фигуры. Белый король, откатившись, секунду держался, словно в нерешительности, на краю стола и с одиноким пустым звуком упал на пол.

Аким не успел дочитать и до половины, когда в комнату с встревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке.

— Что тут случилось? — воскликнул он взволнованно. — Мишель приехал?

Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо.

— И знаешь что, Святослав, — сказал он, волнуясь, — я и сам потрясён не меньше Мишеля. Это одна его знакомая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж ¹⁷. Едва он прочёл это письмо, как вскочил из-за стола с таким видом, как будто ему сообщали о смерти самого близкого человека. А ты помнишь, мы ещё недавно поссорились из-за неё с ним. Я думал, юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством всё чистое и хорошее. Нет, нет, теперь-то я вижу, что всё это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьёзно.

Святослав молча покачал головой.

В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили и все живущие там. Но между детским восторгом и обожаемым младшего его кузена, Акима Шан-Гирея ¹⁸, и безграничной, какой-то фанатической преданностью Святослава Афанасьевича Раевского ¹⁹ лежала непроходимая пропасть.

¹⁷ Лопухина Варвара Александровна (1815–1851) — предмет увлечения Лермонтова с 1831 г., в 1835 г. вышла замуж за чиновника Бахметева.

¹⁸ Шан-Гирей Аким Павлович (1818–1833) — троюродный брат Лермонтова, артиллерийский офицер.

¹⁹ Раевский Святослав Афанасьевич (1808–1876) — чиновник министерства финансов, литератор, этнограф, друг Лермонтова. За распространение стихотворения «На смерть поэта» сослан в Олонецкую губернию.

Внешне Раевский как бы стыдился этого своего преклонения. Втайне он почти с болью не раз спрашивал себя, может ли он хоть в чём-нибудь отказать, чего-либо не сделать ради Мишеля?

Откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох: «Нет, не могу».

Это был не по годам серьёзный и молчаливый молодой человек. Он был беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в её доме чуть ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привилась прочная, ничем не вытравляемая ненависть, а вместе с тем в Мишеле его восхищала даже его гусарская бравада, даже любая скабрёзная шутка. Любой жест, любой поступок Мишеля имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал любую обиду, в любую минуту готов был прийти на помощь и с дружбой к этому беспрестанному обидчику.

И сейчас, ничего не ответив Шан-Гирею, только сокрушённо покачав головой, он пошёл к Мишелю. Ему казалось, что тот должен сейчас очень страдать, ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце.

За дверьми раздавались мерные настойчивые шаги, мягко по ковру звенели шпоры.

Раевский открыл дверь.

— А, Святослав! — останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов. — Входи, входи.

Он смотрел на Раевского весёлыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на оттоманку.

— Слушай! — катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов. — Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере... Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аксельбанта. Ну вот, у этого адъютанта морда такая, будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав... Он танцевал, у его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдёт какой-нибудь флотский казус. Это значит, — ты знаешь, что это значит? Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжёлое состояние — пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убеждён, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к Московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет — нет, это замечательно! — я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по старинке, следовательно, горничная у девицы должна быть рябой и толстой, платье на ней домашнее, с четырёхугольной тальей, внизу уже, чем сверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная, с сонными глазами и зевая, придёт раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с неё туфли, та наконец не выдержит — нужно же кому-нибудь излиться в чувствах! — и начнёт воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнёт, скажет при этом «простите, барышня», барышня на неё разгневается, у ней пропадёт её мечтательное настроение, но сны, уверяю тебя, Святослав, она будет видеть в эту ночь такие приятные сны, каких до сих пор ещё не видала. Никогда не влюбляйся, Святослав.

— Чем ты так раздражён? — тихо спросил Раевский.

— Я? Ты смеёшься: я весел как никогда. А впрочем... — лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным. — Я сейчас пытался сесть за своего «Оршу», и вот ничего решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать.

— Да, правда, ты за этой светской жизнью совсем бросил стихи, — живо подхватил Раевский.

— Ну, ты уж обрадовался! Не стихи, Святослав, важны, даже и не стихи. Важно чувствование. А впрочем, чёрт знает что важно! Я и сам не могу понять этого.

XII

Имелось постановление, вынесенное кабинетом министров ещё при Александре, что «партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчётом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее».

Но «у казённого гвоздя и шляпка — денежка, сумей только выколотить».

В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере вполовину короче летних.

Как ни скуден арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя шляпка, быть неминуемо доходу. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой либо осенью.

Мутное, в тумане и морозной пыли, утро никак не могло разодрать глаз. Словно сквозь слипшиеся от тяжкого сна веки смотрело оно на белую унылую землю.

За заставой Московский тракт оглашался глухим непрерывным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало бряцанье кандалов.

Закованными шли только приговорённые к каторжным работам и арестантским ротам. Таких в партии было человек тридцать. Впереди них в ямских санях шагом ехал конвойный офицер, за ним, окружённые цепью солдат, гремели бряцающим шагом кандалы; дальше конвой редел, шли ссыльные, тянулись обывательские пошевни ²⁰ со скарбом, детьми, слабосильными и «вольноследующими». За ними расплывчатым серым силуэтом, как разминувшийся прохожий, отходил и отставал город.

За заставой в шесть троек укатанный тракт по раннему часу был ещё пустынен. Изредка, заглушаемое звоном кандалов, летело: «Пади!»

В последних в обозе пошевнях, среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала на коленях только связанный в ковровый платок узел. Первые две, старообрядки, целой семьёй отправляемые в ссылку, поглядывали на неё порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой как лунь старик, сидевший рядом с возницей, смотрел на неё неодобрительно и сурово.

Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю саней потянуть трубочку, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Наше дело служивое. Был, служил. В отставку стал выходить, языком что-то не так наработал.

Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять всё с той же улыбочкой:

— Тридцать два года в службе из меня шкуру барабанную делали, а тут напослед отодрали по-гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистр барин. Вот так-то.

Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а раскурив, продолжал, не меняя тона:

— Жаловаться ещё пока что нечего: хуже бывало, только вот в чём обида и несправедливость страшная...

Лицо у него вдруг нахмурилось. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил по-другому, обиженно и резко:

— Вот, вот, это самое. Крест, за кровь собственную данный крест Егорьевский с грудей сорвал и ногой затоптал. Лычек не лишил — иди, мол, на выслугу — это тоже неправильно: разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест, крест как, если даже и не разжаловали? Этого и царь не может.

Старик посмотрел на него сурово, скороговоркой, как про себя, заговорил:

²⁰ Пошевни — широкие сани.

— Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Всё в его власти, и крест этот твой без значения, нестоящий. Тут вот какая печаль; кабы он сам то был настоящий...

Мгновенно взметнулся на него унтерский взор по-начальнически.

— Старик, лишнего не болтай, а то знаешь: дружба дружбой, а табачок врозь.

Старик снова смолк, отвернулся и, бормоча себе под нос, только сплюнул.

Унтер замолчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с весёлой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине:

— Нам что: рубашку сменишь — постирать подумаешь, а жизнь и того проще. Лучше только на том свете станется. А вот вы — величать как, не знаю, — как на такое дело решились, этого и в толк не возьму.

Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась.

— Звать Дарьей, а по батюшке Антоновна, — проговорила она, растягивая слова.

— Вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идёте? Аль не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли?

Женщина посмотрела на него насмешливо. Помолчав, сказала. Слова у неё выходили мягкими, тягучими, как будто она резала тесто.

— Говорите, тридцать два года в службе пробыли, а ума, как посмотрю, не нажили. В людях разобраться не умеете.

Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом старообрядкам:

— Вы, бабочки, может, и впрямь что подумаете, — при этом она улыбнулась, под красными влажными губами блестели белые, как снег, и ровные зубы. — Ни Боже мой, этого со мной не бывало. Я с барином с одним долго жила, а от Михаила Ивановича моего такую привязанность имею, что за ним не то что на каторгу, в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие о жизни имел, как Михаил Иванович. За это и любовь промеж нас такая вышла.

В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней, оправляя на ходу шинель, побежал вперёд. Старик, приподнявшись с места и шаря подслеповатыми глазами, прошамкал:

— Ай уже привал? Больно скоро-то.

Но барабан впереди трещал неумолчно, ряды арестантов расстроились, одни за другими останавливались сани. Вдалеке, в ранних зимних сумерках, чернели мутные очертания жилья.

Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились к деревне.

Худой, высокий, как жердь, офицер суетился перед фронтом, рассчитывая и разделяя партию на отдельные группы. На морозе хриплыми голосами перекликались, считаясь, арестанты.

Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер окончил разбивку, и подошла к нему.

— Ваше благородие, — густые ресницы опустились, закрывая чёрные и блестящие глаза. — Ваше благородие, дозвольте к вам с просьбой.

У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело.

— Ну, в чём дело? Вольноследующая? С арестантом переночевать дозволить?

Голос у офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Ещё ниже опустила ресницы.

— Так, значит, дозволите? — не поднимая глаз, тихо сказала она...

Батурина отвели ночлег вместе с конвойными, отдельно от прочих арестантов.

Около штофа вина, поставленного Дарьей Антоновной, хлопотал и разглагольствовал весёлый унтер.

— Ты что ж, друг? Али доля ещё не горька кажется?

Батурин отодвинул от себя стакан.

— Не буду, — сказал он твёрдо и снова потупился.

— Не будешь, нам больше останется. Пей, ребята, хозяйка придёт, другой поставит.

Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит, растянувшись под лавкой, храпели конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый унтер.

Под окном заскрипели на снегу шаги. В замёрзшее стекло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся, протирая кулаками глаза, и, потягиваясь, пошёл открывать.

Накинутый на голову полушалок закрывал почти всё лицо Дарьи Антоновны, только глаза, чёрные и большие, блестели беспокойно и горячо. На щеках горел яркий — не от мороза — румянец.

— Не спишь, Михаил Иванович? — спросила она, задыхаясь и скоро. — Мне сказать тебе кое-что надо. Чай, дяденька не запретит.

В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно поднялся с лавки.

— Господин взводный, — выкрикнул он, вытягиваясь по форме перед унтером, — разрешите ночевать с товарищами! Как по закону полагается.

И, подступая вплотную, почти прохрипел:

— Отведи, тебе говорю, отведи. Не то беда будет.

Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Антоновна бросилась к Батурину.

— Михаил Иванович, аль рехнулся?! Тут хлопчешь, стараешься, легко, думаешь, устроить! — прерывисто зашептала она.

У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью. Тяжело звякнули коротким обрывающимся звуком кандалы. Дарья Антоновна проворно отскочила.

Из угла, с улыбкой презрительной и насмешливой, покачивая головой, проговорила:

— Жисть правильную загадал? Со мной, говоришь, и в Сибири не пропадёшь? А характер-то куда денешь? С таким-то характером жизнь правильную как раз сделаешь! Эх, Михаил Иванович, заела тебя гордость, от ей и погибнешь.

Ещё через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющей чай на станции с каким-то усатым офицером.

Наутро, перед самым выходом, замызганный лакей пришёл и взял из саней её укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией.

XIII

Месяцы проходили, как однообразные вёрсты сливающегося с белыми полями тракта. Снег жёстко хрустел под ногами, и кандалный звон, как притомившаяся птица, казалось, только на пол-аршина взлетал над дорогой, тотчас же падал и глож.

В апреле дороги стали совсем чёрными, только, словно просыпанная, проступала на них желтизна непросохшей глины и щебня. В мае партия подходила к Омску.

Чем ближе подходили к рудникам, конечному пункту странствования, тем чаще и чаще снова стали порхать в воздухе ленивые белые мухи, на дороге по смёрзшимся колеям нарастала пушистая снеговая плесень.

Звяканье засовов, перекличка часовых и конвойных, — партия по команде остановилась и ждала; потом опять команда, опять ноющее кандалное пенье; запахнулись ворота, и этап в триста тридцать один день был окончен.

Батурин попал на работу на четвёртые сутки. В паре с ним работал сухощавый кавказец с таким тонким и гибким телом, будто у него там были не кости, а ивовые прутья. Кавказец плохо говорил по-русски. Два года назад его в первый раз взяли в плен. Он бежал. Через три месяца, с ногой, перебитой пулей, попался снова. Тогда его сослали в каторгу. Кавказца звали как-то длинно и трудно, каторжники оставили ему в кличку только самое начало его имени: Багир. Лицо у Багира было жёлтое, словно в кожу втёрли жидкую охру. Щёки впали, и когда он кашлял — а кашлял он постоянно, — они надувались и втягивались, втягивались и надувались, как зоб у лягушки. По вечерам, когда каторжников пригоняли с работ в казарму, он молча ложился рядом с Батуриным. Часами лежал с раскрытыми глазами,

неподвижный, как мёртвый.

— Багир, спишь? — окликал его осторожно Батурин.

Ответ всегда был один и тот же, глухим бурлящим шёпотом:

— Нэт, нэт, Михал. Мне спать не нада. Я так видэл, что думал.

Морозы крепчали. Шурфовые ямы приходилось теперь выжигать кострами. Колочий ледяной ветер дул словно с двух сторон сразу. Каторжники работали хотя и в старых и дырявых, но в полушубках и валенках. Конвойные солдаты мёрзли в холодных сапогах и лёгких шинелях. О добрых отношениях, существовавших во время этапа между стражей и арестантами, не было и помину.

Как-то раз, когда команда, возвратившаяся с работы, гудела в сумерках перед сном разговорами, разнёсся неизвестно как попавший сюда слух: старший унтер-офицер гарнизонной команды, проделавший вместе с партией весь переход от Петербурга до Нерчинска, Илья Потапов, вдруг ни с того ни с сего, проходя в свой отпускной день по городу, перебежал с мостков через улицу и на глазах у прохожих заколол какую-то женщину. Женщина эта, говорили, была местной мещанкой, торговкой, имела деньги, но грабежа тут никакого не было, да и какой мог быть грабёж на глазах, по крайней мере, десятка прохожих. Самое странное было то, что Потапов сам на допросе показал под присягой, что этой женщины он никогда не знал и не видел, а на все вопросы, почему и зачем он убил, неизменно твердил одно и то же:

— Так что помутнение вышло. И женщины знать не знаю, и зла на неё никакого не имел.

Так ничего от него и не добились. Присуждён он был к плетям и каторжным работам бессрочно.

Казарма оживилась, заволновалась:

— С чего бы это он?

Но волнению и разговорам суждено было скоро оборваться. В ту же ночь умер Багир. Умирал он жалостно, и эта смерть заслонила собой и непонятное убийство, и каторжные мутные будни, и свою, страшную у каждого по-особому, долю.

В закопчённый, с обледенелыми стенами сарай вошла унылая, щемящая жалость. Словно призвал её на миг, умирая, Багир, — не отходила она от сердца.

Занеможилось ему ещё днём, на работе. Вывозя на отвалы вместе с Батуриным мёрзлые комья земли, Багир споткнулся, упал, залился судорожно лающим кашлем. Кровь, как лохмотья трухлявого мокрого шёлка, летела с его губ на снег, на мёрзлую корявую глину.

— Багирка, чего ты? Надорвался? Присядь, посидишь — оно отойдёт.

Михаил Иванович поднял его с земли, посадил на гружёную тачку, снегом стал растирать ему лоб. Кашель не проходил.

К ночи Багир заговорил. Все думали, что он бредит. В перерывах между кашлем, задыхаясь и с трудом ворочая языком, он говорил о каких-то никому не понятных вещах, мешал слова своего языка с русскими. Поняли только одно: просил Багир каких-то ягод, рассказывал, какие они красивые и большие, и одни из них словно налиты мутным и сладким вином, другие — тёмным, как кровью, и к ним, как к реке, пристал вечерний туман. Он упрашивал дать их ему, просил руками, глазами, просил так жалобно, что у многих навёртывались слёзы.

Глиняный черепок с налитым в него салом чадил, освещая только небольшой круг возле себя. Люди стояли с сумрачными, скорбными лицами. Вдруг Батурин, покривившись так, словно он собирался заплакать, проговорил взволнованным шёпотом:

— Виноград. Это он про виноград рассказывает. Фрукт такой есть, господа кушают. Его оттуда, с Кавказу, и привозят. Вон по чему затосковал. Захотелось, значит, родину чем вспомнить.

И вздохнул тяжело.

В толпе ответили тоже вздохом. Кто-то отвернулся и тихо отошёл в сторону. В тишине стонал и метался Багир, бредя о зажжённых солнцем виноградниках, о небе, золотистом, как

парча, и голубом, как атлас. Ночью он умер.

А через неделю его место на нарах рядом с Батуриным занял новый жилец, бывший старший унтер-офицер гарнизонной команды Илья Потапов.

XIV

Харьковского белого уланского полка отставной штаб-ротмистр Нигорин, Никодим Васильевич, появился в столице зимой прошлого, 1835 года.

Вся подвижность у него, как приехал, заключалась в старом черешневом чубуке, поношенной изрядно венгерке да крепостном человеке Фивке, то есть Феофилакте. Почему при таком состоянии он решил доживать свои остатные годы в Петербурге, было решительно непонятно. Однако это было сделано, по-видимому, не без основания.

Не прошло и полугода, как его имя стало известным всему Петербургу. К Нигорину, не считаясь часом, ночью после бала или маскарада, на рассвете после островов могла ввалиться шумная банда молодых повес, и гостеприимный хозяин неизменно, в каком бы виде и состоянии его ни застали, гремел испитым басом:

— Милости прошу! Для веселья и вина готов остаться и без сна.

Дом Никодима Васильевича был открыт для всех. Представлен ли ты или не представлен хозяину, зван или не зван, — но в любой час дня и ночи там можно было найти и весёлую компанию, и карты, и вино, и много ещё такого, за чем не ленились приезжать сюда даже с островов.

Евгений Петрович Самсонов обо всём этом только слышал. Незабываемый отныне для него праздник в доме Львовых повлёк за собой шесть долгих, полных обременительной суеты, месяцев жениховства.

Так было до декабря. В декабре неожиданно свалился от простуды старик Львов. Болезнь оказалась серьёзной. Врачи предупредили домашних о возможности печального исхода, и Надежда Фёдоровна не оставляла больного отца, пребывая в родительском доме целыми сутками. Жизнь Евгения Петровича оказалась нарушенной.

Декабрьский вечер тянулся невыносимо долго. В висячей лампе выгорело всё масло, и она начинала чадить. Евгений Петрович приказал подать свечу.

«А дальше-то что?» — уже не в первый раз с тоской спрашивал он самого себя.

Из зеркала ему отвечала кривая и раздражённая усмешка. Было как будто стыдно даже мысленно раздражаться на больного тестя.

Чуть ли не с первых дней своей женитьбы Евгений Петрович поймал себя на том, что он ловит каждое неудачное слово, каждый неловкий жест жены, старательно скапливает их в памяти. Право, данное церковью, законом, родителями, мнением других, позволяло, не терзаясь самолюбивой подозрительностью, мстить за каждое своё раздражение или неудовольствие. Потом это стало неотвратимо, как привычка. Евгений Петрович ещё ближе подошёл к зеркалу. Заколебавшееся пламя свечей, как свободно свисавшую ткань, тронуло тени. Из зеркала на него смотрело незнакомое, с лихорадочно блестящими глазами лицо.

«Тесть умирает, — он покривился, поправляя воротник мундира. — Будут упрёки в невнимании, в нелюбви, если меня не найдут дома. Но ей дороже отец, значит, я имею шансы на выигрыш».

Он улыбнулся, открыл бумажник. Бегло отсчитал и выбросил на стол пачку ассигнаций, высыпал из кошелька пригоршню золотых, минуту подумал, собрал их обратно и, позванивая шпорами, быстро вышел из комнаты.

— Если пришлют от барыни, скажи — я уехал по службе, — бросил он в передней, стоя уже в шинели, поднял воротник и, пряча лицо по самые уши, вышел на улицу.

У Нигорина, когда там появился Евгений Петрович, игра только начиналась. В облаках табачного дыма, низко плававшего над столом, Самсонов с трудом различил два-три знакомых лица. В нерешительности он остановился на пороге. Хозяин в расстёгнутой венгерке, из-под которой виднелась далеко не свежая сорочка, вскочил из-за стола.

— Рекомендую, господа, новый, можно сказать, соратник. Долго крепился. Как-с? Бессонов? Виноват — Самсонов. Господа, рекомендую: Самсонов, Евгений Петрович.

Несколько человек, сидевших у стола, привстав, поклонились Евгению Петровичу.

Какой-то уже не молодой чиновник, напоминавший собою нечищенный медный подсвечник, держал банк. Понтировало несколько человек, военных и штатских, но, видно, эта была игра ещё не настоящая. Три других приготовленных карточных стола пустовали. За круглым, с закусками и винами, сидели кавалеристы. Они пили одно шампанское, пили лениво, с таким видом, будто их заставляют. Хозяин поминутно отрывался от карточного стола, чтобы спросить их:

— Ну, как, господа, хватает?

Быстро хватал со стола бутылку и, приговаривая:

— Ну вот, и смолёную голову чикнули, — необычайно ловко откупоривал её.

Каждый раз, откупорив бутылку, он не забывал одним глотком опрокинуть в себя большой стакан, прежде чем вернуться к карточному столу.

Евгений Петрович от нечего делать стал прислушиваться к тому, что рассказывал белокурый гусар.

— ...любовь эта, должен вам сказать, совершенно исключительная, — картавя и с нерусским акцентом повествовал тот. — На этом портрете княгиня была изображена выходящей из ванной, а так как портрет висел над ванной настоящей и стены комнаты были фоном картины, то вы можете себе представить, как это выглядело.

— Добряк. Жену — дяде, а сам сыт и портретом.

— Подождите, подождите! — поднимая руку, воскликнул белокурый гусар. — Это только вступление. Смешное дальше.

— Ну, ну, рассказывай. Пока что занятого мало, — лениво отозвался сутулый и маленький гусар в расстёгнутом доломане.

Чёрные глаза его горели пронзительно и живо, и Евгению Петровичу показалось, что он уже не в первый раз испытывает неприятное чувство от этого взгляда.

— Ну, Маешка, на тебя не угодишь. Только то и интересно, что сам насочинишь, — замахали на него руками товарищи. — Дай Браницкому досказать.

— Я и даю, хотя и не Бярятинский, — не меняя позы, лениво процедил Маешка.

— Когда князя не бывало в Деречине, осмотр дворца и главным образом картинной галереи разрешался всем желающим. Показывалась и ванная. Вот какой-то армейский капитан, сопровождавший партию рекрут в Варшаву и задержавшийся в Деречине, пошёл посмотреть дворец тоже. Провели его по залу, поглазель, поудивлялся; довели до ванной — тут и пропал бедный малый. Стоит и глаз оторвать не может. Проходит час, другой, публику уже начинают просить о выходе, а он как будто и не слышит. Наконец ему растолковали. Вздохнул, опустил голову, вышел, но только наутро является опять и ничего уж, кроме ванной, смотреть не хочет. Прямо туда, и опять целый день от княгини Пелагеи глаз отвести не может. На следующий день ему бы надо выступать со своей партией, так нет. Он отправляет с ней прапорщика, а сам остаётся в Деречине, и теперь капитан только что спит да обедает не во дворце. Так целые дни и просиживает перед портретом. Прошло дней десять или более, возвращается князь. Тут посещения палатца, разумеется, прекратились, но капитан тем не менее из Деречина не уезжает и своей партии догонять даже и не думает. Разумеется, князю доложили об этом чуде. Он послал за ним и объявил, что тот во всякое время может приходить и смотреть портрет. Капитан с радостью принял любезное приглашение и, надо думать, пользовался им чрезвычайно широко, потому что в конце концов его исключили из службы по причине безвестной отлучки. Но князь и тут не отступился от своего покровительства этому мономану. Узнав, что ему нечем жить, назначил пенсию в сто червонцев в год и приказал отвести квартиру в одном из флигелей при дворце. Посещать ванную комнату и проводить в ней время, сколько ему вздумается, разрешалось капитану невозбранно. Ну, как вы думаете, господа, чем всё это кончилось?

Браницкий вопросительным взглядом обвёл слушателей и под общий хохот закончил:

— Через год этот чудака заболел, у него отсохла рука, и он помер.

Маленький гусар, которого называли Маешкой, едва лишь улыбнулся.

— Как это, Тизенгаузен, тебя Господь милует? Давно бы пора у тебя языку, что ли, отсохнуть, — проговорил он.

Новый взрыв хохота подхватил эти слова. Беленький, с девичьим румянцем на щеках кирасир, нисколько не смущаясь устремлённых к нему со всех сторон взглядов, програссировал:

— Ты, Легмонтов, мне ещё со школы всё мгачное пгогочишь. Завидуешь, должно быть, стагина.

Играя глазами, как женщина, он осмотрел Лермонтова с головы до ног.

— Каков гусь! А? — в пьяном восторге закричал лейб-драгун, чертами лица слегка напоминавший Лермонтова.

— Скорее гусыня, да и та, что нестись перестала, — лениво поправил его Лермонтов и, поднявшись со стула, перешёл к карточному столу.

— А вы, поручик, играть не изволите? — небрежно бросил он в сторону Самсонова.

— В таком случае я не имел бы чести вас здесь встретить, — непонятно почему раздражаясь, ответил Евгений Петрович.

— Не слишком это лестно для хозяина. Однако пожалуйста, если решились.

Самсонов промолчал.

За вторым столом метать банк сел сам хозяин. Евгений Петрович, стараясь не замечать насмешливого и пристального взгляда Лермонтова, подошёл к столу. Рука у него слегка дрожала, когда он распечатывал колоду.

Лермонтов рядом с ним, небрежно развалиясь на стуле, покрыл свою карту пачкой ассигнаций. Самсонов поставил сто. Хозяин, прищурив левый глаз, подсчитал и аккуратно записал мелом ставки.

— Бокал вина, поручик, — не глядя на Самсонова, сказал Лермонтов и, не поднимаясь с места, потянулся за бутылкой.

У Самсонова напряжённо дрогнул угол рта.

— Не могу принять, не имея возможности ответить тем же.

— Пожалуйста, отчего же? Дайте только золотой тому неказистому малому, он вмиг вам подаст.

Евгений Петрович промолчал и на этот раз. Он знаком подозвал к себе необычайно грязного и оборванного лакея, выбросил на стол два золотых и молча пальцем показал на бутылку.

Нигорин метал сосредоточенно и серьёзно, не слыша и не замечая происходящего около. Окончив прокидку, он поднимал брови и, тараща глаза, осматривал поле сражения. Семёрка Самсонова выиграла.

— Вам-с двести.

Нигорин рассчитанным жестом подвинул к нему деньги. Евгений Петрович рассеянно и не глядя взял их со стола.

— От вашей рассеянности, поручик, страдают ваши партнёры, — раздался над его ухом насмешливый голос.

Он вздрогнул. Задыхаясь и не справляясь с голосом, выкрикнул:

— Что вы хотите сказать?

Гусарский корнет смотрел теперь не только насмешливо, но и дерзко.

— Не больше того, что сказал. Извините, но вы загребли к себе и мои деньги.

Самсонов почувствовал, как у него на голове от ужаса и стыда поднимаются волосы. Кровь широкой волной бросилась в лицо. Он готов был ударить этого наглого корнета. Другие игроки смотрели на него с оскорбительной улыбкой. Он даже не мог себе представить, как это случилось. В руках он держал четыре сторублёвых бумажки.

Попробовал выдавить на лице улыбку:

— Надеюсь, вы не подумали, что это намеренно?

— О, конечно, нет.

Лермонтов уже не смотрел на Самсонова, видимо, потеряв к нему всякий интерес.

— Маешка, ты чего нынче бесишься? Тебе же не везёт.

Тот даже не посмотрел на угреватого и толстого улана.

— Тебе-то что?

— За тебя радуюсь.

— Чему?

— Должно быть, в другом месте повезло. Может, у молодого супруга уже рога растут.

И улан грубо захохотал.

Евгений Петрович вдруг почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. На секунду словно кто-то зажал в кулаке сердце, потом отпустил, и оно забилось трепетно и часто. Ему казалось, что на него смотрят все, все улыбаются насмешливо и торжествующе. Он нервным жестом вытряхнул из кошелька на карту все бывшие у него золотые, оросил зажатые в руке бумажки. Нигорин покосился многозначительно.

«Всё равно, я должен проиграть: меня любят», — подумал Самсонов в каком-то странном возбуждении.

Ему вдруг захотелось домой. После такого проигрыша можно будет встать, не роняя себя в глазах игравшей молодёжи.

Нигорин начал метать новую талию. Бубновый туз лёг направо. Тоскливое отчаяние, с каким он начал игру, сменилось у Евгения Петровича тревожным волнением. Деньги были его. Он удвоил ставку.

— Играет горячо, — услышал он за спиной чей-то каменный голос.

Через три часа перед ним лежала на столе груда выигранного золота и бумажек. Стараясь подавить непроходившее волнение, он пил и пил бокал за бокалом. В голове стучали звонкие молоточки. Комната разделилась на две части. В одной, уже окрашенной проползшим сквозь занавеси голубым рассветом, стояла немая тишина. В другой шумели гусары, водружая над медным окаренком на скрещённых палашах целую голову сахара. Густым и тяжким вздохом вступила гитара. У стола затянули «Журавель»:

Разодеты как швейцары
Царскосельские гусары...

В углу несколько голосов подхватило:

Жура-жура журавель,
Журавушка молодой.

Окончивший игру хозяин, широко разводя руками, приглашал к столу.

Всё тот же нечёсаный лакей и ещё двое таких же малоопрятных парней вкатывали в комнату накрытый стол. Гусары гасили свечи. Голубое пламя над окаренком отодвинулось в глубину.

Евгений Петрович, чувствуя, что ноги слушаются плохо, вместе со стулом придвинулся к столу.

— Моя подруга, Долли Антоновна. Рекомендую, кто незнаком, — опять широко разводя руками, провозгласил хозяин.

Высокая и полная женщина в платке и наряде, какие носят только зажиточные мещанки или купчихи победнее, непринуждённо вошла в комнату.

— Что это всё Долли да Долли, — надоело мне как, — лениво играя глазами, проговорила она. — Небось не при людях Дарьюшкой величаешь.

Она, как со старыми знакомыми, поздоровалась с гусарами. Те приветствовали её рукоплесканием.

Чиновник, похожий на нечищенный подсвечник, сел рядом с Евгением Петровичем. Не

дожидаясь никого, он потянулся к водочному графину.

— Пьёте-с? — дико скосил он глаза и налил Евгению Петровичу рюмку.

Молоточки не переставая стучали в голове. Ушат со жжённой теперь же водрузили на стол. Бледное колеблющееся пламя искажало лица. Дарья Антоновна, плотоядно улыбаясь, посмотрела на Самсонова.

— Что это я вас не знаю. В первый раз вы у нас, что ли?

От улыбки, трепетавшей на влажных и ярких губах, кружилась голова.

— Да, в первый. А что?

— Спросить хочу, кто вы. Я раньше всех Преображенских офицеров по фамилиям знала.

— Самсонов.

— Самсонов? — протянула она удивлённо. — Стало быть, племянничек Исленьеву Николаю Александровичу будете? Как же, как же, слыхала! Мне ещё мой Михаил Иванович рассказывал.

Она вздохнула.

— Какой Михаил Иванович? Батулин? Да вы что, его любовницей были? Позвольте, так тогда в Сибирь разве не вы пошли с ним?

Ощущение, которое испытывал Евгений Петрович, напомнило ему бабочку, зажатую в горсти. Всё его тело было как бы две огромные, сложившиеся одна с другой ладони. Внутри трепетно и бессильно билось что-то, стараясь освободиться.

Дарья Антоновна повела чёрными горячими глазами.

— Любовница ли, сестра ли родная — это наше с ним дело, никому разбирать не приходится. А вот что вернулась, так это дорога больно дальней показалась.

Вдруг как-то в один короткий миг Самсонову стало ясным, что Дарья Антоновна — красавица, красавица необыкновенная. От этого открытия противная слабость наполняла тело.

«Наденька тоже дальней дороги испугается», — робко шевельнулось в мозгу.

Через два прибора от него вертлявый верзила в красном кавалергардском мундире, жуя, убеждал кого-то:

— Нет, уж мне верить извольте. Я — Дантесу приятель. Этим летом, когда мы в Новой Деревне стояли, вся эта фарса и вышла. Уверенно говорю, что Наташа за ним бегала.

Звонкий срывающийся голос Лермонтова Самсонов узнал:

— Трубецкой, я требую, чтобы ты прекратил эту грязную болтовню. Она задевает человека, ногтя которого ты весь не стоишь.

— Как?

Все сразу вдруг повскакали с мест. Стучали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. Кричавшего и требовавшего чего-то Трубецкого держали за руки несколько человек. Сквозь шум и крики до Евгения Петровича донеслись отчётливо, словно резали их одно за другим, слова:

— Трубецкой, тебе я неравный противник. У тебя не хватает самого главного: ума.

Спавший, уронив на стол голову, лейб-драгун проснулся, пьяными глазами повёл кругом и, роняя опять голову, пробурчал:

— Это Костька Булгаков опять булгачит. Чёрт с ними, обойдутся.

Вдруг его пьяный взгляд остановился на Самсонове. Он сделал отчаянное усилие, выпрямился совсем над столом, рявкнул:

— Выпей, преображенец, и всё пройдёт!

Бокал пылавшего голубым пламенем рома был той последней каплей, которая добила Евгения Петровича. Дальше он ничего уже не помнил.

Очнулся он, когда хмурое зимнее утро мохнатым сумраком заполнило комнату. Свесившаяся с дивана голова затекла, и в ней ещё бродил хмель. Самсонов, протирая глаза, осмотрелся кругом. В самом дальнем углу слышался осторожный шёпот. Дарья Антоновна сидела на креслах, склонившись. На полу, у её ног, в расстёгнутом доломане полулежал

Лермонтов. Голова его была у неё на коленях, она с нежностью и тихо время от времени проводила по чёрным кудрям рукой и говорила:

— Вот как это ты давеча сказал? Одних за то не любишь, что дают, а других за то, что не дают. Эх, Юрьевич, гордость всё это проклятая, мужиковская гордость, самолюбствование. «Как бы меня не обидели». Да сам-то ты весь свет заберёшь, что ли? Ну за что любить-то тебя, ты сам подумай? Она и не любит. Эх, не будет тебе, милый, счастья, никогда не будет.

Евгений Петрович тихонько поднялся с дивана, пошатываясь, прошёл в прихожую, отыскал свою шинель.

На улице уже наступил настоящий день. Если не вся, то в какой-то своей части столица проснулась. Тянулись на биржу извозчики, чухонки с охты несли молоко, по морозу вбег бежали с огромными корзинами мальчишки-булочники.

У Нигорина в доме в боковой комнате горела одинокая свечка. Сам Никодим Васильевич в расстёгнутой рубашке старательно выводил на четвертушке писчей бумаги:

Его превосходительству генерал-майору
ЛЕОНТИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДУБЕЛЬТУ
От отставного штаб-ротмистра Нигорина

ДОНОШЕНИЕ

Лейб-гусарского полка корнет Лермонтов, быв в доме моём...

XV

В первую минуту после смерти отца, ещё не выплавав всего горя, Надежда Фёдоровна как-то совсем по-детски прижалась, спрятала лицо на груди мужа.

— Это большая милость божья, что папа скончался, когда у меня есть ты. Что было бы со мной без тебя?! — прошептала она сквозь слёзы такие волнующие и нежные слова, что ему и самому захотелось заплакать.

В церкви она почти всю службу простояла на коленях, только изредка, с пугливым удивлением, словно искала защиты и не верила, что эту защиту найдёт, поднимала глаза на мужа. Обедню пела придворная капелла в полном составе, голоса, как будто разбили хрусталь, звеня, дрожали под сводами. К концу службы в церковь заехал государь, выказывая сочувствие, обнял и поцеловал в лоб старшего Львова, Алексея.

Евгению Петровичу это показалось и великодушным и трогательным.

Неделю спустя после похорон он имел разговор со старшим своим шурином.

— Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе, — говорить Львов. — Даже большим усердием, не имея приличного состояния, ты ничего не добьёшься. На службу по корпусу жандармов привыкли смотреть как на что-то мало достойное благородного человека. А вот я девять лет числюсь в нём. И что же, скажи мне по совести, я оттого проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного и честного подданного государя? Всякая служба на пользу отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать тебе, что мы не раз с покойным башкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия.

Через неделю состоялся приказ, которым «лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов» назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской Главной квартирой.

Предупреждённый Львовым, Евгений Петрович готовился к напряжённой и отнимающей много времени работе, продолжительному сидению в канцелярии. В действительности новая служба оказалась не более обременительной, чем его штатное

ничего неделанье.

Ежедневно по утрам в дом Третьего отделения у Цепного моста съезжались наиболее приближённые к графу чины управления. В так называемом малом кабинете он обыкновенно имел с ними беседу перед отправлением на доклад к государю. Всё самое сокровенное, всё наиболее тщательно скрываемое от постороннего взгляда в жизни столицы открывалось на этих беседах.

Времени для себя оставалось даже с избытком. Как будто устроившаяся наконец, освобождённая от тягостных размышлений последних месяцев его холостячества жизнь текла полным и равномерным течением. Надежда Фёдоровна по случаю траура не выезжала никуда. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполняла сердце волнующим и благодетельным содержанием.

Новый, 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоём с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всею возможной тщательностью. Не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдёт весь этот большой и загадочный год.

И вдруг тридцатого декабря, то есть за день до встречи, им принесли в конвертах с орлённой печатью именные приглашения на придворный бал-маскарад.

Золотообрезный кусочек картона выпал из рук. Казалось, упал не он, упало и оборвалось что-то в сердце. Самсонов не был настолько наивен, чтобы не знать, чем вызвано это приглашение. У Львовых ещё не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты.

«А если не ехать?! Если сказать больным?! У жены траур, она может отклонить приглашение...»

Короткая зябкая дрожь пробежала по телу. Всё это было невозможно.

Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало Евгения Петровича. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и невпопад, от него отходили или разочарованно, или с обидными ироническими замечаниями. Надежда Фёдоровна, в полумаске, в домино, упорхнула, захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетала совсем из его жизни.

Дежурный флигель-адъютант, князь Долгорукий, подошёл к нему с участливой улыбкой.

— Что с вами? Вы нездоровы?

И, не дождавшись ответа, заговорил с непритворным сочувствием:

— Что поделаешь: такова уж судьба вас всех, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, превозмогая себя, торчать на бале до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает наконец отпустить вас на отдых.

Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворожительной улыбке, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном:

— Государь заметил ваш удручённый вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду Фёдоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова — украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала. Я это почту самой приятной обязанностью.

Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание.

Серый зыблущийся туман, сдвинувшись, скрыл блестящий зал. Ступая так твёрдо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с лёгким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили, звёздами, с кострами, вокруг которых грелись кучера и жандармы, не отстранила, не облегчила тяжести

гнетущих мыслей.

Только издали видел он сегодня государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой ещё с детских лет сердце замирало в привычном восторге, сейчас не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение.

«Сегодня, через час, через два... Когда сегодня будет принадлежать ему Надя?..»

Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным ребёнком.

— Соперник, — с горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича.

Глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал в морозный воздух. И раньше чем растаял этот звон, глухим лопающимся звуком ахнула в крепости пушка.

Новый год наступил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В конце января нового, 1837 года Владимиру Петровичу Бурнашёву было поручено собрать сведения печатные и практические об огородном производстве для составления проекта записки о полковых огородах.

Примерный своим усердием и аккуратностью чиновник в тот же день отправился в помещавшуюся на Невском в доме лютеранской Петропавловской церкви «Библиотеку для чтения». Странное название — как будто может существовать библиотека и не для чтения, — но, говорят, покойный её основатель Смирдин ²¹ настаивал именно на нём, производя его, по-видимому, от французского *cabinet de lecture* ²². Теперь ею заведовал угрюмый и малообщительный библиоман — Фёдор Фролович Цветаев. Он вообще избегал каких бы то ни было разговоров с посетителями, и поэтому Бурнашёв немало был удивлён, когда Цветаев встретил его таким неожиданным вопросом:

— А что, Владимир Петрович, давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем?

Правда, для Бурнашёва Цветаев и делал некоторое исключение, заговаривая иногда о той или иной новой книге, но бесед на темы небиблиографического свойства не допускал и с ним.

— Да уже давненько, — всё ещё удивляясь, поспешил сообщить Бурнашёв. — Заезжал в Новый год, да они нынче по-знатному, не принимают. А что?

— Как что? Да разве вы не знаете? Его второй сын, этот молоденький студентик Николай, третьего дня умер. Завтра, двадцать седьмого, его и хоронят. Неужели вы так ничего и не знали?

— Что вы говорите? — воскликнул поражённый Бурнашёв.

С минуту он стоял с видом растерянным и недоумённым.

Он искренно любил литературу, побывать в кругу более или менее известных современников было для него событием, не менее любил он и парады, торжественные заседания, пышные похороны. Любое помпезное зрелище, независимо от его характера, вызывало на глазах чувствительного Владимира Петровича слёзы.

— Нужно мне, нужно съездить в дом к Гречу, — подыскивал он вслух основания.

— Да, пожалуй, вам обязательно нужно поехать, — поддержал его Цветаев.

В передней у Греча Бурнашёва встретил старый слуга с наплаканным покрасневшим

²¹ Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — петербургский книгопродавец, издатель сочинений Пушкина.

²² Кабинет для чтения (фр.).

лицом. Плерезы ²³ на рукавах и воротнике его чёрного платья возвещали о понесённой домом утрате.

— Вы, конечно, сударь, всё знаете и пришли проститься с нашим ангелочком, — зашептал он, принимая от Владимира Петровича шубу. — Пожалуйте, пройдёмте. Вы теперь никого из семейства не увидите: все умаялись эти дни ужасно, и доктор даже дал капле каких-то Николаю Ивановичу, чтобы они заснули.

В просторной зале, служившей у Гречей одновременно и парадным кабинетом, царил желтоватый полусвет. Шторы на окнах были спущены, занавешена и стеклянная дверь на террасу. Чёрным коленкором были затянуты зеркала. Большой стол сдвинут к стене и освобождён от книг и бумаг. Подле него стояла длинная тёмно-зелёная кушетка. В изголовье её белело серебряное распытье.

На кушетке, со сложенными на груди руками, в студенческом, с васильковым воротником мундире лежал Коля Греч.

Длинные ресницы положили глубокую тень вокруг закрытых глаз. Юношески прекрасное лицо выглядело совсем как живое, только было ужасно бледно.

Тяжёлый запах, исходивший от многочисленных гирлянд, венков, живых цветов, расставленных вокруг кушетки, влажный оранжерейный запах вызывал представление о тлении. От этого запаха долгое пребывание в комнате казалось невозможным.

— Вот, — умиленно зашептал старик слуга, — вот так и умирал сердечный наш Коленька. Всё улыбался, уверял нас, что очень ему хорошо, а потом обращается к отцу и говорит: «Увидишь, папа, Пушкина Александра Сергеевича, скажи ему, что Богу не угодно было, чтобы я пошёл на театральную сцену, потому что я уже ухожу не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердечный, хотел сказать этим, я так и не понял, только всё записал себе на память в календаре на листочках.

На цыпочках вышли из залы. С той же осторожностью, с какой он открывал её, запер на ключ старик дверь.

— Когда хоронят? — деловито спросил Владимир Петрович, влезая в услужливо поданную шубу.

— Завтра, часа в четыре, приедет немецкий пастор, при нём и в гроб положат. Ох уж эти именины, и не знали, и не гадали, что с них такая беда будет!

— А что такое? — живо поинтересовался Бурнашёв.

— Да как же. С шестого декабря, как оба наших барина, и молодой и старый, именины справляли, с ним эта простуда и приключилась. В тот вечер ещё сочинитель Пушкин Александр Сергеевич заезжал. Ну, Коленька их, прямо сказать, обожает. Так они, бедненькие, проводить их до экипажа прямо без всего, в одном мундире на улицу выскочили. Вот и схватили простуду.

— Пушкин? Так у вас Пушкин был на вечере? Расскажи-ка мне, любезный, меня это весьма интересует.

Ради того, чтобы послушать историю, в которой принимало участие какое-нибудь лицо из литературного мира, Владимир Петрович готов был оставаться в передней хоть целый час.

— Да что ж тут рассказывать, тут и рассказывать нечего. Александр Сергеевич к нам как бы невзначай попали. Они проезжали мимо, увидели у нас в окнах свет, подумали, что здесь собрание какое. Так меня и спросили: «Что у вас здесь, собрание?» Ну, как увидели, какое собрание, то, конечно, неловко им сразу же ворочаться, зашли и бокал шампанского выпили, и так с полчаса, а может и поболее, пробыли. Только я вам скажу, хоть и редко они у нас бывали, но я всё же приметил, какой весёлый у господина Пушкина характер, а в этот раз что-то как бы не в себе были, скучный такой и неразговорчивый. Коленьку нашего попросил стихи почитать и очень хвалил. «Вы, — говорит, — непременно артистом должны сделаться». А Коленька наш от этой похвалы, можно сказать, растаял совсем, — он,

²³ Траурные нашивки.

бедненький, господина Пушкина прямо Бог знает как обожал, да вот: как стал господин Пушкин от нас отъезжать, вышли наши господа в переднюю, я подаю ему его медвежью шубу, а он и говорит: «Холодно мне как-то везде, нездоровится, что ли, в этом медвежьем климате. Надо на юг, на юг». А Коленька им эдак восторженно: «Ах, ежели бы, — говорит, — Александр Сергеевич, привелось мне увидеть вас в тех долинах, куда вы поехать хотите!» У Пушкина тут лицо сделалось грустное. «Гора с горой, — говорит он, — не сходится, а человек с человеком сойдётся». С этими словами и вышел, а Коленька за ним, и до тех пор, пока господин Пушкин в экипаж не сели, так от него и не отходил. Чем он его, бедняжку, к себе так приворожил, этого, должно быть, моему старческому уму и не понять никогда.

И старик, тяжело вздыхая, стал кулаком тереть глаза.

На следующий день Владимир Петрович, облекшись в приличествующий случаю костюм, ровно в четыре был у подъезда дома Греча.

Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика.

Пастор говорил прощальное слово. Голос его, бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашёв стоял, прижатый к буфету. Две чёрные крупные цифры на листке отрывного висевшего в простенке календаря назойливо лезли в глаза.

«Двадцать семь. Сегодня двадцать седьмое», — почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны.

Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыдания раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки.

Заскрежетали ввинчиваемые в крышку винты. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу.

Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного.

Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы изломанными линиями чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась.

Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, вполголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение — осуществись они, и не было бы этой нелепой безвременной смерти, жив бы был Коля и всё было бы хорошо. Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной.

— А послано ли было приглашение Александру Сергеевичу? — вдруг озабоченно перебил он себя. — Ведь он так любил моего Колю.

— Послано, послано. И даже с нарочным, а не по городской почте, — поспешил успокоить его кто-то из родственников.

— А всё-таки его нет. Верно, пишет новую поэму, — жёлчно выговорил Греч. — Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик, — проговорил он с горькой иронией, — о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. Что ж, эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть.

В этот момент в толпе произошло какое-то смятение. С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся, взволнованным голосом:

— Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, да — он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть.

Ропот ужаса и негодования пронёсся в толпе. Слышались отдельные голоса:

— Кто смел поднять руку на Пушкина! Не может быть, чтобы это был русский человек!

Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все:

— Убийца — француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотёр в аристократии!

На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным, багровым пламенем.

II

Вся Мойка была запружена густыми толпами народа.

Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись.

Сажён за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, Бурнашёву пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно.

Проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого.

В дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир.

Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале состоявшего при особе наследника Юрьевича.

Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто:

— Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству всё, что знаю.

Кто-то совсем близко от Бурнашёва пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани с Юрьевичем тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе.

Через минуту от неистового «пади, пади» толпа шарахнулась и расступилась, давая дорогу другим парным саням с пристяжной на отлёте.

Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливрее и крикнул:

— Карету лейб-медика Арендта!

Придворная карета парой, с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду.

Маленький толстый человечек в чёрной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нём невероятно огромным цилиндре появился в подъезде.

— Ну что, ваше превосходительство? — с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы.

Арендт с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красны. Прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил:

— Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи Царя Небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца.

Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова Арендта.

III

Эта ночь, как и предыдущие, прошла тяжёлым, ломающимся бредом.

Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг не

оставлявшие его мысли. Было такое ощущение — вот он ходит по комнате; над ковром, всего на каких-нибудь пол-аршина, протянуты в беспорядке верёвки и верёвочки, переступил одну — ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.

Рядом — спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах её sachet ²⁴. Этим запахом пахнет её ночное бельё, пахнет она сама, — незабываемый; он мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим — туалетной воды, горьковатым и вялым — который оставляет только дыхание, ибо в спальне теперь он не курит; эти два — основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но, помимо их, есть и пришлые, непостоянные: причудливо острый — «La reine Marie Louise» ²⁵ парижского парфюмера Houbigant; тяжёлый, дурманящий, он скоро пропадает от душной ночной тишины.

Евгений Петрович порывистыми шагами подошёл к туалетному столу, уксусом смочил виски, тёр их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело.

Запахом «La reine Marie Louise» благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.

— Это было до... до...

Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было.

Вся жизнь разделилась теперь на две неравные половины. Всё, что случилось, всё, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной, переполненной чувствами, как тело — кровью, жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.

Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намёком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Фёдоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: оно воспитано.

Этот токай был польского воспитания, свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: «nisi in Polonia educatum» ²⁶. Иначе несовершенно. Зелёная, как зелень увядающего букета, влага тяжёлой маслянистой струёй наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликёр, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнём. Надежда Фёдоровна вошла в столовую. Он поднялся из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы — безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь.

— С Новым годом, мой милый.

Губами он чувствовал только терпкую сладость токая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту губы.

— Ну что ж, хотя и с опозданием, но мы ещё сможем высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтоб подали шампанское.

Он улыбнулся исподлобья, вопрошающе.

²⁴ Душистой подушечки (фр.).

²⁵ «Королева Мария Луиза» (фр.).

²⁶ Только если воспитано в Польше (лат.).

— Не стоит. Налей мне этого вина.

Токай зелёной струёй медленно, как масло, наполнил рюмку.

— Ах, я так устала, страшно устала...

Он ждал детских слёз, смятенного униженного плача, покаяния, мольбы о прощении, в мыслях он уже видел её кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребёнок.

Надежда Фёдоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомлённым взором. Губы у неё шевелились едва-едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он ещё не видел, не сходила с них.

— Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Сразила эта улыбка, из победителя сделала покорным, смешала, как невыходивший пасьянс, всё будущее.

Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах ещё было ощущение поцелуя. Он подошёл, наклонился, оторваться от её губ уже не мог. На руках отнёс в спальню.

Теперь, днём, на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома, Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному побуждению начинал перебирать в памяти тех, чьи жёны, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри; как от пощёчины, пылало лицо. Все они не были равны ему, среди них он не знал ни одного изболевшегося самолюбивой гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчётливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжёлое кольцо, сковавшее зловещую и чёрную, как будущее, пустоту, всё чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил из пистолета по зажжённой свечке. От выстрела свечка гасла, как сражённая наповал, валилась набок. Её зажигали, водружали на прежнее место, он со сладострастным любопытством опять целился в пламя. Застрелиться помешало то же воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Фёдоровны.

— Ты хочешь о чём-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Он ссыпал с полки порох, выкатил из дула пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо больше не тяготило мыслей.

Теперь другое жалило сердце, и тогда хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски.

«Молчит. Ни словом, ни жестом. Даже случайно... А с ним, с ним какова? Как узнать? Как постигнуть? Такая же, как со мной?»

Вода и уксус как будто слегка умили жар. Евгений Петрович перед умывальником скинул халат, снял сорочку. Тело, растёртое холодной водой, горело приятно. Он снова натянул халат и прошёл в кабинет. Денщик уже ждал с одеванием.

В прихожей вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм рывкнул, разрубая по слогам:

— Здравв же-ла-ю, ва-ше родь.

— Ну?

— Так что пожалуйте к графу.

Евгений Петрович оделся поспешно и вышел. На улице был лёгкий приятный морозец. Легче думать, когда идёшь пешком, когда морозная свежесть дарит вторично ощущениями утреннего умывания. Но нужно было торопиться. Евгений Петрович взял извозчика.

У Бенкендорфа ещё в передней камердинер сообщил:

— Пожалуйте. Вас ожидают.

В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул.

— Иди, иди, mon cher, — тотчас же раздалось из-за двери.

Он вошёл и остановился.

Бенкендорф, совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными, мерными шагами расхаживал по комнате.

— Во-первых, *mon cher*, не взыщи, что я тебя принимаю в таком неглиже. Je prends un bain d'air ²⁷ по совету моего доктора, а во-вторых, потрудись... мм... нужно тебе составить... дело... ммм... совершенно безотлагательно... Ну, ты знаешь, конечно, какая история вышла...

Евгений Петрович не знал, но дипломатически промолчал, потому что граф не терпел вопросов.

— Ну-с вот... надо составить...

Бенкендорф по обыкновению говорил с паузами чуть ли не после каждого слова. Говоря, он продолжал ходить, иногда приближался к Самсонову, и тот от ужаса и отвращения, что граф может коснуться его, стоял, вытянув по швам руки, до боли напрягая мышцы, чтоб не сдвинуться с места. В этом своём виде его принципал походил на старую, с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висла на груди и на животе толстыми противными складками, худые, с высохшими икрами ноги были слишком тонки для такого туловища, длинные, со скрюченными пальцами руки свисали чуть не до колен, иногда руки поднимались, сгибаясь как какие-то неисправные рычаги, — граф потирал себе грудь и живот.

— Да... надо составить... это ты умеешь... циркуляр секретный... в цензуру... в Москву и в города и вообще... так... понял?

Евгений Петрович утвердительно наклонил голову.

— ...Чтобы никаких там... мм... некрологов, статей... и так говорят слишком много...

Положение Евгения Петровича становилось затруднительным.

— Позвольте, ваше сиятельство, но ведь он... — решился он наобум.

Граф перебил с поспешностью:

— Ты хочешь сказать, пока ещё жив... Э, всё равно, не нынче, так завтра, не завтра, так в пятницу... всё равно умрёт... положение его безнадежно... и слава Богу, и слава Богу... с кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно...

«Пушкин! Пушкин умирает!» — подумал Евгений Петрович, поражённый тем ли, что он до сих пор не знал этого, или тем, что человек, которого он видел всего несколько дней назад полным сил и здоровья, так безжалостно приговорён к смерти.

Незнакомое чувство острой щемящей жалости вкралось в сердце Евгения Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине в последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким, родным, как брат, как соучастник, сроднившийся одинаковой страшной судьбой.

Бенкендорф помолчал, потом, не отводя глаз, продолжал:

— Это, *mon cher*, моя к тебе просьба... нельзя пренебрегать и сплетнями... направлять, сдерживать... но у меня никого нет... не могу же я послать какого-нибудь там жандармского штаб-офицера, ведь они все левой ногой сморкаются... ну, вот... надеюсь, ты понял. И потом... — здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго, — ...и потом переписку... нужно будет последить и за перепиской...

Если бы за минуту до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умирающему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной неотступно преследовавшей муки, если бы этот сделавшийся содержанием всей его жизни и безответный вопрос не встал перед ним снова, вряд ли бы он ответил так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путём он всё равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало:

«Загляни, только загляни. А может...»

²⁷ Я принимаю воздушную ванну (фр.).

— В своё время я просил ваше сиятельство, — проговорил он тоном, обычным при разговорах с начальством, — не употреблять меня по секретной части. Но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства и буду счастлив, зная, что приношу пользу отечеству.

IV

Корнета Лермонтова полковые приказы полагали «больным на дому» чаще других.

В лейб-гусарском полку такие «больные» вообще никогда не переводились. Покидая Царское для кутежей или балов в столице, нужно было оставить какое-то основание своему отсутствию, — обычай и время узаконили «болезнь на дому».

Но Лермонтов «хворал» и не всегда по обычаю. Иногда, подав рапорт о болезни, он по несколько дней не выходил из дому, больной или здоровый не покидал постели. Его сожитель, однополчанин, друг и кузен Монго-Столыпин, терял тогда терпение от невозмутимого равнодушия, в какое погружался неугомонный Маешка. Никаким амурным приключением, никакой лихой пирушкой, никаким балом и обществом в столице соблазнить его в таких случаях было невозможно. Редко читая, чаще без книги, он проводил часы, лёжа на диване в каком-то молчаливом оцепенении. В доме тогда все ходили на цыпочках. Михаила Юрьевича боялись потревожить лишний раз вопросом, что он желает к обеду, докладом, кто его спрашивал.

Сама Елизавета Алексеевна порой решалась, чуть приоткрыв дверь, осторожно заглянуть в его комнату. Мишель чутко поворачивал тотчас же голову, почтительно-нежным взглядом встречал её взгляд, но в этом взгляде она читала только нетерпение — когда же наконец оставят меня. Она тихо прикрывала дверь, сокрушённо покачивая головой, отходила прочь.

Не меньше Елизаветы Алексеевны страдал и тревожился этим состоянием своего кумира и Раевский.

На столике рядом с диваном лежала записная книжка. Иногда Лермонтов брал её, с задумчивым и невидящим взглядом долго держал в руках, поглаживая карандашом усы, но, обычно так ничего и не написав, раздражённо отбрасывал прочь.

Как-то раз Святославу Афанасьевичу попался на глаза клочок бумажки, исписанный в такие минуты. Его охватил ужас. С такой откровенностью, с таким жестоким самобичеванием не говорят о себе, вероятно, и на исповеди. Бумажка была брошена на пол, без всякой, видимо, заботы, что её могут поднять и прочесть.

После этого случая Раевский не решался даже войти в комнату, когда Мишель с утра оставался в кровати. Ему казалось, что этим он вторгнется в самые заветные глубины его души.

И действительно, такому состоянию у Лермонтова всегда предшествовала непонятная ему самому и властная потребность подумать, осознать что-то в себе.

Как-то Раевский спросил его:

— Мишель, ты чувствуешь, когда к тебе приходит вдохновение?

Он расхохотался:

— Ты — чужак. Я могу тебе рассказать, как ко мне приходит желание — не писать стихи, разумеется, а другое, — ну а стихи...

Не договорил, быстро перевёл разговор. Признаться в этом не решился даже и Святославу.

В юности, в детстве — для себя он никогда не мог найти границу между юностью и детством, — он по-настоящему, до неловкого смущения, до растерянности стеснялся стихов. Писал их всегда с упоением, они никогда не казались плохими, любое на долгое время переполняло сердце горделивым восхищением. Собственно, стеснялся он даже и не стихов — ими он гордился. Блеснуть на глазах у других небрежной лёгкостью, с какой выходят из-под его пера рифмованные строчки, было заманчиво. Но только он начинал ощущать в себе привычное и неуёмное беспокойство в голове, когда, как створки какой-нибудь

шкатулки, ладно и плотно одна к другой начинали складываться строчки, начинало тянуть к столу, к бумаге — ему делалось стыдно, неловко, как будто он собирался заниматься чем-то недостойным и жалким. С годами всё неохотнее, реже, трудней показывал кому бы то ни было написанное. Почти никогда не читал посторонним и малознакомым. Но зато тем, кого считал друзьями, кому доверял, — тех он буквально засыпал стихами, спешил поделиться каждой новой строчкой, каждым новым замыслом. Восемнадцати лет «просящийся на службу в лейб-гвардии гусарский полк недоросль из дворян Михаил Лермонтов» был зачислен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Товарищи по школе были почти поголовно моложе его, многие прямо на школьную дисциплину сменили домашнюю опеку. Он был в университете; если не годами, то понятиями, развитием был много старше их. Но не он — они предписывали вкус и отношение к окружавшему.

Поэтическую известность завоевал в школе вдохновенной барковщиной, неистощимой фантазией по части гнусных казарменных рассказов о женщинах. Юнкерское удалство, первенство в любой непристойной выходке; изощрённость в издевательствах над младшими, в кознях начальству доставляли почтительное восхищение однокашников. Ему прощали и неуклюжесть осанки, и невидность во фронте, презираемую в те времена не одним только начальством. Его считали хорошим товарищем, но близко с ним не сходились. Многие не могли простить острого и несдержанного языка, других отпугивала неприятная, словно от обиды, злая и раздражённая насмешливость над всем и над всеми. Ему самому иногда казалось, что эти последние прозорливее, что, кроме неприязни ко всему и зависти обиженного, у него ничего нет. Мечтателем и тихоней в школе не слыл. По вечерам, после учебных занятий, он часто уходил в отдалённые классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго, писал до поздней ночи, всегда стараясь пробраться туда незамеченным.

Один из юнкеров, мало похожий на товарищей, мечтательный и женственный Хомутов в доверчивости показал ему свой дневник. Он буквально впился и глотал страницу за страницей исписанной мелким почерком тетрадки. Окончив чтение, с тяжёлым вздохом вернул её Хомутову.

— Зачем это? ну зачем? С самим собой беседовать нужно тайно. Если люди откроют тебя, ты пропал. Не люблю дневников — они отнимают спокойствие, уверенность, что ты не будешь изобличён.

Наступил долгожданный чудесный день. 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Лермонтов произведён из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. Одной из подруг своей московской юности он писал:

Боже мой! Если бы Вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским... Как скоро я заметил, что прекрасные грёзы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые.

Но от этой «восхитительной» жизни он зачастую с бала, с гусарской шумной попойки с видом потерянно-убитым спешил домой, в одинокую тишину своей комнаты, к ленивому лежанию по целым дням в постели, к сосредоточенной задумчивости.

Однажды Раевский был поражён неожиданным криком:

— Святослав, Святослав!

Он поспешил на зов.

Лермонтов, разглаживая карандашом бровь, полулежал на диване. По лицу бродила странная, потерянная улыбка. На коленях на переплёте закрытой книги лежал клочок исписанной бумаги.

— Прочти. Вот это.

Пальцем показал, откуда надо читать. Это был черновик письма:

Должен Вам признаться, с каждым днём я всё больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути мне или не представляется случая, или недостаёт решимости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретается временем и опытностью... А кто порукой, что, когда всё это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной молодой души, которую Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всём том, что в жизни служит двигающим стимулом.

Всё время, пока Раевский читал, Лермонтов не отводил от него внимательного, наблюдающего взгляда.

— Ну?

Теперь Раевский растерянно и смятенно смотрел на него.

— Но ведь, Мишель, ты...

И запнулся.

— Да, да, я хотел только узнать, насколько естественно может выглядеть моя искренность, — поспешил заговорить Лермонтов.

Раевский сконфуженно и неловко молчал.

Незадолго до того Лермонтов почти теми же словами начал ему говорить о себе. По обыкновению, Святослав Афанасьевич с воодушевлением подхватил, с жаром стал развивать его мысль. Тогда тот вдруг непринуждённо и весело расхохотался.

— Я пошутил, Святослав, уверяю тебя, пошутил. Я своего добьюсь. А случай — это к...

Январь 1837 года проходил расточительно и бурно. Больше месяца Лермонтов уже не брал в руки пера. В Царское, в полк, он съездил всего несколько раз, и то только на дежурство. Но припадки меланхолии случались теперь всё чаще и чаще. Дома он бывал раздражённым, нестерпимо придирчивым.

Шан-Гирей, со стороны наблюдавший своего старшего кузена, как-то обмолвился Раевскому:

— Как будто Мишель чего-то усиленно добивается и это ему не удаётся. Но чего?

Раевский, помолчав, проговорил с задумчивой и печальной улыбкой:

— Чего ему добиваться, Аким? Он принят везде и всюду даже лучше того, на что бы мог рассчитывать. Чего желал — он всего добился и... вместе с тем ничего, — закончил он с грустным вздохом.

Между тем настроение Мишеля не изменилось. К концу месяца, подав очередной рапорт о болезни, он и вовсе перестал появляться где-либо.

Вечером 27-го он лежал один в своей обычной позе — заложенными под голову руками, с неподвижно устремлённым в одну точку взглядом. Свеча, оплывая, колебала на стенах огромные неуклюжие тени. Часы на письменном столе отчётливо тонким голосом пробили семь. Он зевнул, не двигаясь с места, протянул руку поднять упавшую на пол книжку французского журнала. Заложенный в неё разрезальный нож выпал, скатился на диван. Он лениво переглядел неразрезанные страницы в конце. Зевнул опять и отбросил прочь книжку. Вдруг в коридоре раздались чьи-то поспешные резкие шаги. Дверь без вопроса, без предупреждений с шумом распахнулась. Раевский в бекеше, не сняв даже шляпы, ворвался в комнату.

— Ужасная весть. Пушкин убит. Сегодня. Его раненого привезли домой. Он умер.

Голос у Раевского словно спотыкался: одно слово опрокидывало другое.

Лермонтов медленно приподнялся с подушек.

— Убит? — переспросил он глухим раздельным шёпотом.

— Да, да, убит. Каким-то ничтожным, бесславным французишкой, тем самым Дантесом, о котором говорил мне ты, о котором говорят...

Он вдруг остановился.

Лермонтов, выпрямившись, сидел на постели. С косых татарских скул слетел обычный румянец. Живые глаза на бледном лице сверкали горячим и беспокойным блеском.

— Вот как в жизни, Святослав! А? ты понимаешь? Арбенин у меня, чтоб погасить свои тревоги, отравляет Нину. А он себя. Под чей пистолет, Святослав! Ты подумай только! Убит, умер, не отомстив, не успокоив своей души. Это страшно, Святослав: в России, если ты перерастёшь воробьиные чувства и желания, тебе нет места. Нас стерегут, чтоб мы не выросли. Жандармы, неверные жёны, предательницы любовницы, опекающий своим мнением свет и пошляки — да, да, и пошляки... Да ты знаешь, что такое Дантес? Я назову тебе с десятков таких Дантесов. Ты их не знаешь, не видел, а я... Помнишь цензурный отзыв на «Маскарад»? Помнишь: «Вызов костюмированным в доме Энгельгардтов», «Дерзости против дам высшего общества»? Они ужаснулись, что их можно презирать. А Пушкин! Я убеждён, что уже сейчас по городу бегают ревнители Дантесовой чести, старательно пачкают гнусными сплетнями ещё не остывший труп. О, Дантес ещё будет героем! Поверь мне, его возведут в герои! Да, да, Святослав, мы в плену, нас учат чужим обычаям, нас заставляют подчиняться им, а если нет, если не так, ты думаешь, не найдётся Дантеса, чтобы призвать мятежника к порядку? О, нам и воевать-то не с кем.

Эта отрывистая возбуждённая речь как будто утомила его. Он бессильно откинулся на подушки. На бледных щеках медленно разгорался румянец.

— Миша, как это верно, как это страшно! — умилённо и восторженно воскликнул Раевский.

Он подошёл к дивану. Огромная тень задвигалась и сползла со стены.

Лермонтов молчал. Мимо Раевского, мимо свечи, в угол неподвижным и отсутствующим смотрел взглядом. Раевскому показалось, что времени уже некуда больше идти, и оно неподвижной давящей тишиной заполнило всю комнату.

Вдруг Лермонтов, как бы освобождаясь от какой-то неотступно преследовавшей мысли, резко тряхнул головой, по лицу пробежала улыбка.

— О чём ты думал сейчас? — тихо спросил Раевский.

— Ах да, — Лермонтов потянулся поднять с пола упавшую книжку. — Ты знаешь, что я сейчас здесь вычитал? Это замечательно. В Париже изобрели такие вещи, что теперь никакая венерическая болезнь уже не страшна. — И начал подробно и с увлечением объяснять, как устроены и из чего делаются эти вещи, как будто ничто другое в этот момент и не могло занимать его воображение.

V

Слух о кончине Пушкина с невероятной быстротой распространился по городу.

На Мойку к дому Волконской стекались всё новые и новые толпы стремившихся поклониться праху поэта. Но, по распоряжению высших властей, доступ в квартиру был воспрещён. Два полицейских офицера и один жандармский по-прежнему охраняли подъезд.

В субботу 30-го, то есть на следующий после смерти день, Бурнашёв застал перед домом стечение публики во много раз больше, чем два дня тому назад. По городу ходили самые разноречивые и странные слухи. Говорили, что Пушкина приказано похоронить тайно, ночью, после закрытого отпевания. Многие из собравшихся здесь, очевидно, дежурили ещё со вчерашнего дня. Толпа напряжённо ждала чего-то, что от неё хотели скрыть, утаить.

Владимиру Петровичу всё же удалось протиснуться к подъезду.

Сегодня он заметил в толпе много жандармов с аксельбантами, какие тогда были присвоены лишь жандармам Третьего отделения. В прошлый раз он здесь их не видел. День был солнечный, с морозцем. На занавешенных изнутри окнах солнце играло пыльной позолотой, на карнизах и на крышах блестел снег, пылали начищенные жандармские каски. Застывшая в напряжённом и строгом ожидании толпа была молчалива. Сегодня, пробираясь

через неё, Владимир Петрович не слышал ни разговоров, ни замечаний.

У подъезда жандармский капитан, учтиво наклоня голову, спросил:

— Вам куда-с?

Владимир Петрович растерялся.

— Я, собственно, поклониться... как русский человек, по обычаю... Я служу-с в военном министерстве, чиновник двенадцатого класса... и вообще... уважая литературу...

Жандарм сухо прервал:

— Не разрешается. Только самых близких к покойному лиц.

Бурнашёв, покраснев, неловко попятился.

Выходивший в этот момент из подъезда гвардейский артиллерист с адъютантским аксельбантом посмотрел на него с улыбкой.

— Бурнашёв! Вы хотите пройти туда?

У Бурнашёва мигом преобразилось лицо. Глаза заморгали угодливо и моляще. Он узнал в артиллеристе адъютанта военного министра.

— Так точно, ваше сиятельство. Я с лучшими намерениями. Образ моих мыслей хорошо известен вашему сиятельству.

«Сиятельство» небрежно бросило жандарму:

— Пропустите его. Я за него ручаюсь, — и стало пробираться к стоявшим в отдалении саням.

В этот же момент какой-то высокий офицер в белом уланском кивере, выступив из толпы, деловито зашагал к подъезду.

— И меня тоже. Меня тоже приказано пропустить, — услышал Владимир Петрович за своей спиной.

Потом на лестнице зазвенели шпоры, загромыхал, стучаясь о ступеньки, палаш.

Владимир Петрович с недовольным лицом обернулся к поднимавшемуся по лестнице улану, но оно сейчас же расплылось у него в приветливую и любезную улыбку.

— Не с Владимиром ли Сергеевичем Глинкой имею честь? — осторожно осведомился он.

— Совершенно верно-с, — ухмыльнулся улан. — Я, можно сказать, фуксом. На вас сыграл-с, надул жандарма-то.

— И очень хорошо-с, — хихикнул Владимир Петрович. — По крайней мере, Александру Сергеевичу последний долг отдадим. А вас я по журналам знаю-с. Некоторые из ваших стихиков у меня даже списанными хранятся.

Глинка самодовольно покрутил усы.

В просторных сенях на вешалке не висело никакого платья.

Дремавший на лавке жандармский унтер-офицер вытянулся перед Глинкой, неловко принял от них шинели и молча показал на маленькую полуприкрытую дверь.

Большая комната казалась неестественно просторной: очевидно, из неё вынесли всю лишнюю мебель. Тёмные шторы были спущены. Красноватое мерцающее пламя нескольких десятков восковых свечей, вставленных в церковные, обвитые крепом подсвечники, тускло освещало стоявший против входной двери гроб.

В комнате никого не было. Дьячок в чёрном с серебром стихаре, словно по ухабам, волочил гнусавое бормотанье.

И Глинка и Бурнашёв смущённо, не зная, что им делать дальше, остановились возле дверей.

Гроб, обитый тёмно-фиолетовым бархатом, наполовину был закрыт парчовым, спускавшимся до самого пола, покровом. В изголовье, сквозь наброшенную кисею, смутно проступали очертания лежащего в гробу тела.

Лакей в глубоком трауре неслышно появился из-за спины Бурнашёва, едва заметным поклоном как бы пригласил их подойти ближе, перекрестившись, осторожно откинул кисею.

Смутное, восковой желтизны лицо покоилось на большой, выпиравшей из гроба подушке. Бурнашёву сразу бросилось в глаза, что наволочка, очевидно, мала, застёжки

сходились туго, из прорех пухло выпирала полосатая сорочка.

Глаза у покойного были плотно и ровно закрыты, чуть-чуть отверстый рот обнажил прекрасные, ровные, один как другой, зубы. Выражение величавого спокойствия, какой-то нечеловеческой мудрости, казалось, запечатлевала эта восковая маска.

Дьячок, вырываясь из своего бормотания, выкликнул:

— «Правду твою не скрыл в сердце твоём...»

И опять запутался в гнусавых, одолевавших его, как сон, звуках.

Бурнашёву вдруг стало не по себе, как будто его испугала эта вырванная из монотонного бормотания строчка. Крестясь, он опустил на колени. Перед глазами мелькнули, запоминаясь навек, восковые, с посиневшими ногтями, руки, выпадающий из них образок, лацкан тёмно-коричневого поношенного сюртука.

Над головой Владимира Петровича кто-то быстрым шёпотом произносил слова, ему показалось — молитвы. Поднимаясь с колен, он увидел напряжённое лицо Глинки, быстро шевелившиеся губы. У Глинки был такой вид, как будто он опасался, что ему не дадут произнести всё до конца. Среди торопливого шёпота Бурнашёв разобрал:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сём сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь... 28

Владимир Петрович с удивленьем и испугом покосился на своего нового знакомца.

Лакей, открывавший им гроб, приблизился опять так же неслышно, проговорил шёпотом:

— Просили-с, — он не сказал кто, — поспешить. Сейчас будет панихида для семейства и близких. Все уже собрались.

Глинка вздохом оборвал своё бормотанье, наклонился, поцеловал в руку покойного и круто повернулся. Бурнашёв ограничился только глубоким поклоном и, перекрестившись ещё раз, последовал за ним.

Когда они выходили, какой-то молодой человек в студенческой треуголке, окидывая их презрительным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Даже чтоб поклониться мёртвому Пушкину, нужна жандармская протекция.

Оба сделали вид, что не слышат.

Пробираясь в толпе, Владимир Петрович по обыкновению искательно поспешил закрепить новое знакомство.

— Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич, — разливался он, — что хотя, можно сказать, и при таких печальных обстоятельствах, но заключилось такое приятное для меня знакомство.

— А я действительно намереваюсь сделать его вам приятным, — улыбнулся Глинка. — Вот здесь у меня, — он хлопнул себя по карману, — лежат поистине прелестные стихи, и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили, относящиеся. Стихи не мои, не подумайте, что хвастаюсь.

— А чьи же-с?

— Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар, по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят! Хотите, прочту?

— Как же, как же-с. Буду покорнейше просить вас, как о величайшем одолжении. Поэт

как будто действительно обещающий. Поэмку его «Гаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения» читал-с. Прекрасный поэт, многие даже называют его будущим преемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только как же читать-то на морозе? Давайте пройдем к Вольфу в кондитерскую — тут два шага, — велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

— Ловко ли будет, — нерешительно заметил Глинка, — читать их в публичном месте?

— А почему?

— Да, знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Их мне и получить-то удалось по большой доверительности.

У Бурнашёва от этих слов даже глаза заблестели.

— Владимир Сергеевич, миленький, ради Бога, прочтите? Там ничего. Мы в уголке где-нибудь устроимся. А я тотчас же и спишу их. Прошу вас.

В кондитерской было шумно и многолюдно, какой-то потёртого вида майор уже декламировал, напыщенно и завывая, стихи, посвящённые Пушкину.

Глинка достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, низко наклонился над столом и густым и низким басом сказал:

— Эпиграф из жандровского перевода «Венцеслава»:

Отмщенье, государь, отмщенье!

Только, чур, условие: спишете ли вы их, наизусть ли заучите, но я тут должен остаться ни при чём, мне самому их доверили под величайшим секретом.

— Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого вы меня принимаете! Вы-то их сами откуда добыли?

— Совершенно случайно обнаружил их у одного моего бывшего однополчанина, тоже харьковского улана, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, Бог его знает, — пояснил Глинка.

VI

По городу ходили смутные, противоречивые толки:

— Почему такая таинственность? Чего боятся? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет? Чем, чем заслужил он такую участь?!

Проводить его действительно оказалось нельзя. В воскресенье тридцать первого января, в полночь, тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь. Ещё задолго до этого времени жандармы очистили Мойку от публики, оцепили весь путь от дома до самой церкви.

Над пустынной улицей была чёрная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые, жёлтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур прогонял ветер белые, словно гнувшиися от невидимых ударов, призраки-тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с неё снежную пыль, призраками гнал столбы её вдоль улиц.

В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплёскивая на мостовую жёлтый и жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того как изваяния. В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, чёрный и огромный, заступил собою освещённую полосу тротуара. Потом гроб качнуло ещё раз: шедшие впереди ступили на мостовую. Как по каналу, по вылившейся из дверей светлой полосе прошёл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призракам, сжатая кольцом из конных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, лапами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем; гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб,

одинокая горсточка людей в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина разрешено было только немногим, самым близким друзьям покойного.

За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха; тем, кто шёл за гробом, казалось, что идут только они, только они одни ещё живы в мёртвом и пустынном городе, что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом выла вьюга. Казалось, со всей России: с мёртвых полей, с погребённых в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие, — сметал ветер заунывный вой глухих и пустынных просторов; было мёртво и жутко в опустевшем, безлюдном городе.

Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса. Где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства.

Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа.

— Вы слышите?

Сосед, захлёбываясь рыданиями, — маленькому человечку показалось, что это ветер срывает его голос, — ответил прерывисто и поспешно:

— Слышу, слышу... Ведь это ж Россия... которой не дают проводить её Пушкина...

Маленький рассердился:

— Да нет же, нет: не Россия это... И мы с вами тоже нет... Вон Россия — ей Пушкин не нужен...

Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу; он поспешил ухватиться за неё. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу; маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошадьё укрыться от ветра.

Скупое освещённая внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое: «Нельзя, ваше благородие, никак нельзя, никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери, какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низко опущенной, с поля надетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо преградившего ему дорогу жандарма, только он один сумел пробраться сюда, на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный и чёрный гроб, пронёс рассеянной, разбрасывающейся памятью маленький человек в церковь.

Вслед за ним, последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели:

— Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу: я ведь в ответе буду.

Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как со сна, голосом выкрикнул: «А?! Что?! Нельзя стоять?!» — и спрыгнул с приступки на тротуар. В темноте кто-то схватил его за руку.

— Юрьич? Ты здесь зачем?

Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Нигорин, всё не выпуская ещё его руки, старался заглянуть в глаза.

— Интересно?! А?! Интересно? Словно повешенного — ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мёрзнешь. Иди-ка ко мне, чай, уж там собрались...

Лермонтов вырвал у него руку.

Сердце вдруг заколотилось так, что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет — он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким, молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали:

...Убит!.. к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправдания?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?..

— Вот, вот, Юрьич! — прислушиваясь, воскликнул Нигорин. — Я сюда шёл, то же самое, эти новые твои стишки в толпе слышал.

— Ты-то почему знаешь, что они мои?

— А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая: вчерашнюю сдачу помню.

Нигорин хихикнул, но проговорил он всё это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил:

— А это, это разве не такой чудный дар?! Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список! Эти восемь строк я запомнил на слух. А всё стихотворение... нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унёс с собой в могилу своего чудесного дара.

Так же, как когда-то в юнкерской школе, сделалось вдруг мучительно стыдно, неловко, что это говорят про него, им восхищаются, его стихами. А может быть, стыдно было и оттого, что едва поборол в себе желание крикнуть: «Это я, я написал эти стихи, вот они, слушайте!» Сердце по-прежнему продолжало биться неуёмно и страшно. Дыханье было стеснено.

Нигорин смеялся:

— Пойдём, Михаил Юрьевич, ну чего заслушался. Студенты тебя в Пушкины прочат. Идём, ждут нас.

Лермонтов позволил взять себя за руку, послушно, не отвечая, пошёл рядом с Нигориным. Через несколько шагов их окликнули:

— Мишенька! Чуяло моё сердце, что тебя здесь я встречу.

Дарья Антоновна даже и не взглянула на Нигорина. Как будто Лермонтов был один, бросилась к нему, ласково и радостно прижала к себе.

— Да что ты, Мишенька, ровно потерянный? — шепнула, целуя его. — И щёки горят. Ай Варенька твоя тебя полюбила?

VII

Первого февраля в Конюшенной церкви должно было состояться отпевание тела Пушкина.

С самого утра этого дня Евгений Петрович ощущал в себе беспокойство и тревогу.

Заупокойная обедня должна была качаться в десять с половиной. Было уже после одиннадцати.

Он всю дорогу погонял извозчика.

На площади стояли огромные толпы. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к собору. В собор впускали только по билетам. Какие-то люди в дверях покосились на проходившего Самсонова.

В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус, много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую стоявшую вблизи гроба фигуру. Вдовы среди публики

не было.

Хор чистыми, упруго звеневшими голосами тянул:

Последнее рыдание творяше...

Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что так бывает именно когда провожаешь и расстаёшься.

«Зачем, зачем я здесь?»

Сначала было просто до невыносимости беспокожно. Потом вдруг сразу стало понятным и почему он беспрестанно погонял извозчика, и почему, уже переступая порог церкви, томился смутным предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова.

Граф? Что граф! Графа уже не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно, сейчас Самсонов и не вспомнил бы, какое он принял от него поручение. Своё, своё.

Он ещё раз внимательным, ищущим взором зарылся в толпу. Той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел бы прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было.

Рассеянно покрестив пуговицы мундира, Самсонов повернул к выходу.

В Третьем отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом.

— Господин гвардии штабс-капитан, — как шагом, печатая слова, заговорил Дубельт, — известно ли вашему высокоблагородию, что граф поручить вам изволил?

Евгений Петрович посмотрел на него удивлённо.

У Дубельта на углах рта выступила пена, это всегда служило признаком раздражения и всегда заставляло, даже Бенкендорфа, в таких случаях отодвигаться от него осторожно.

— Известно ли вам-с, — брызгая этой пеной, рубил Дубельт, — известно ли вам-с, что в городе ходят уже второй, а может, и третий уже день ходят возмутительные стихи? Возьмите себе-с, расследуйте. Я надписал это вам-с. Мне некогда. По высочайшему повелению я должен разбирать бумаги Пушкина, я должен исследовать... А тут стихи, ещё какие-то стихи. Они с ума сведут, эти стихотворцы, — закончил он визгливо и побежал вниз по лестнице.

За несколько ступенек до конца остановился.

— Господин гвардии штабс-капитан!

Самсонов сошёл к нему.

— Да-с. Забыл предупредить. Вы неопытны-с, можете глупость наделать. Так вот-с. Там попадётся одно имя, — зашептал он, наклоняясь к самому уху. — Отставной штаб-ротмистр Нигорин. Его не трогать. Это по моему поручению, для пользы службы. А вам заняться сим незамедлительно. Так приказал граф.

Евгений Петрович только пожал плечами:

— Слушаю-с.

И, не прибавив ни слова, стал подниматься наверх.

В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нём строчками. В углу была карандашная пометка Дубельта:

Господину Гв. штабс-кап. САМСОНОВУ

Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию.

Г.-м. Дубельт

Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные, неровные справа строчки. Какой-то иной, скрытый от всех, страшный своей таинственностью смысл, казалось, заключался в них. От строчки

болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сложил лист пополам, спрятал его в карман. В приёмной графа камердинер опасно шепнул:

— Сейчас уезжают.

Самсонов настойчиво повторил:

— Доложи.

Рядом, из туалетной, раздался скрипучий, мямлящий голос графа:

— Ну, ну, mon cher, что у тебя там?.. Входи.

Бенкендорф, стоя у зеркала, щёткой приглаживал торчавшие на висках седые волосы.

— Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов «На смерть поэта»?

— Да, да, mon cher.

Граф вдруг отвернулся от зеркала, заулыбался виновато, в такт словам дирижируя щёткой.

— Да, уж пожалуйста. Сейчас такая кутерьма, что голова кругом идёт, поручить некому. Написал-то их Лермонтов, парень, в сущности, безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот м-м... какой подлец их по городу пустил, так что теперь чуть ли не каждый декламирует, — это, это выясни.

Он снова наклонился к зеркалу. Растягивая пальцами сморщенную, до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик. Что-то вспомнил.

Не глядя, левой рукой бросил Самсонову с туалетного столика печатный листок.

— Да вот ещё, mon cher. Полюбуйся. Это твоё упущение.

Это была последняя страница «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду».

В чёрную траурную рамку было заключено:

Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великолепного поприща!.. Более говорить о нём не имеем ни силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю ценность этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость! Наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января, 2 часа 45 мин, пополудни.

Граф сердито покосился на молчавшего Самсонова.

— Что это такое, в самом деле, mon cher?

Он покончил со своим туалетом, пошёл было к дверям, посреди комнаты остановился, сердито оправляя ворот мундира.

— Что это за чёрная рамка вокруг известия о смерти человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это ещё куда бы ни шло... А то — «Пушкин скончался в середине своего великого поприща»! Какое это поприще такое? Что он был — полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит ещё проходить великое поприще. Неудобно и неприлично. Строгое замечание, выговор, предупреждение... и цензору и редактору. Понял? А с Лермонтовым это ты разберёшься. Ну, прощай. Мне надо спешить к государю.

VIII

К Беклемишеву²⁹ Бурнашёва ввёл его новый знакомый.

²⁹ Беклемишев Николай Петрович — штабс-ротмистр Харьковского уланского полка.

Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант военной академии, служил в том же, что и Глинка, Харьковском уланском полку.

По воскресеньям в доме бывали званые обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и тех, кто собирался на половине сына.

Таким образом, и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора.

До обеда на половине молодого Беклемишева шёл оживлённый спор.

Конногвардейский поручик Сеницын, человек невзрачной и невыразительной внешности, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас рассуждал с видом необыкновенно серьёзным и значительным. Он был аудитором в военносудной комиссии над убийцей Пушкина.

— Государь, не отменяя постановления комиссии, — рассказывал он, — по исконному своему милосердию смягчил его, как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». И то сказать, господа, по точному смыслу сто тридцать девятой статьи воинского сухопутного устава за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещённого века. И потом, поручик Геккерн был сам тяжко оскорблён, комиссия нашла нужным вступить за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые...

— Вступить! Ходатайствовать о смягчении! Вот истинно русские сердца! Господа командиры частей гвардейского корпуса, тлея в них хоть искра участия к нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а, наоборот, требовать четвертования. Мало повесить вашего Геккерна, убийцу русского гения.

Владимир Петрович почти с ужасом посмотрел на молоденького семёновца. На мундире его тоже был золотой аксельбант военной академии.

Сеницын тихонько, не без ехидства, захихикал.

— А вы, милейший Линдфорс, полагаете, что гению России позволительно плевать в лицо и оскорблять не только благоговеющих перед ним соотечественников, но и иностранцев, о чести и благородстве имеющих понятие не меньшее? Им-то до русского гения дела ведь нет.

С этими словами он встал, очевидно показывая тем, что дальше спорить не намерен, и отошёл в угол.

Линдфорс, не обратив на него никакого внимания, взывал уже теперь ко всем бывшим в комнате:

— Меня не удивляет, господа, когда наши старички, какие-нибудь почтенные звездоносцы, берут сторону этого презренного убийцы, меня не удивляет, что лермонтовских бичующих стихов испугались наши родители, но чтобы среди нас, среди молодёжи, находились люди, не постигающие, что простить убийцу Пушкина — значит не иметь никакого уважения, никакой гордости к собственному имени, это для меня непостижимо...

Сеницын, осторожными мелкими шажками прохаживавшийся по комнате, посмотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал.

— Да, кстати о стихах Лермонтова! — перебивая Линдфорса, воскликнул хозяин. — По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные ещё сильнее и резче. Кто из вас, господа, знает их?

— Я, — поспешил заявить Линдфорс.

К нему сразу бросилось несколько человек.

— Вы знаете? Знаете? Так скажите же их скорее. Ведь их так трудно сейчас получить.

Бурнашёв тоже проворно извлёк из кармана записную книжку и карандаш.

— Владимир Петрович, — услышал он над ухом.

Сеницын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты.

По мягкости своего характера Владимир Петрович не посмел отказаться, со вздохом спрятал обратно в карман записную книжку.

Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвёрдо он читал:

...А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона...

— Идёмте, Владимир Петрович, — шепнул Сеницын, — Я вам должен кое-что сказать. Никто не заметил, как они вышли.

В бильярдной, убедившись, что за дверьми никого нет, Сеницын взял из стойки кий и, приблизившись вплотную к Бурнашёву, вполголоса заговорил:

— Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые, и оба люди тихие. Так вот, проформы ради, чтобы кто не подумал, что мы секретничаем, давайте-ка шарокастествовать, будто играем партию. А я вас ведь с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди, очевидно, ещё не знают, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, как помнится, вы у меня как-то на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером, и в самом верном списке, так что поедете потом ко мне, я их дам вам списать. Только видите ли, стихи эти как-то уже попали не в добрый час на глаза государю, и над Лермонтовым не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Теперь не только эти дополнительные, но и всё стихотворение целиком сделалось контрабандным и преследуется жандармерией. Поэтому вы понимаете, что бравоировать знанием этих стихов, особенно нам с вами, людям тихим, вовсе не годится. Вот я и позволил себе увлечь вас от того кружка, с половины Николая Петровича.

— Крайне, крайне признателен вам, любезнейший Афанасий Иванович, а за то, что и стихи мне списать обещаете, — вдвойне, — захихикал Бурнашёв. — Только ловко ли, что мы так долго отсутствуем. Может, там уже к столу пригласили.

— Ну что ж, пойдёмте. Пожалуй, и правда пора.

Действительно, там уже садились за стол.

Какой-то подагрического вида старец в ленте и со звездой сокрушённо качал головой и говорил:

— ...Да, да, дерзки, весьма дерзки стали. И правительство и общество поносить решаются. Э, батенька, что говорить: *c'est un arriere-gout de de'cabrisme de nefaste memoire* ³⁰. Надо бы, надо бы за такие стишки надеть на него белую ляжку. Пусть голубчик в шкуре рядового-то попробует, как к революции-то призывать. А, пожалуй, ещё государь, по неизречённому милосердию своему, простит и этого сорванца.

— Так что, ваше высокопревосходительство, полагаете, — не утерпел пылкий Линдфорс, — что за убийство Пушкина и за благородный порыв возмущённого русского сердца кара должна быть одна и та же?

Звездоносец с минуту тяжело прищуренными глазами смотрел на него.

— Да ты, я вижу, тоже того, — наконец разрешился он. — Таких же идей набрался?! Тоже революции хочешь?!

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чём же вы тут видите революцию? Эти стихи — самые верноподданнейшие, один эпитаф к ним говорит за это. Да и эти дополнительные строчки — где же тут можно увидеть революцию?

И он опять не удержался, чтобы не продекламировать:

³⁰ Это отрывок печальной памяти декабризма (фр.).

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...

Его оборвал хозяин. Почтенный шталмейстер, не теряя, впрочем, для всех остальных весёлого выражения лица, взглянул внушительно.

— Помилуй Бог, — воскликнул он по-суворовски, — стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со своими стихами: все заслушаются, и никто не узнает вкуса этого фрикасе из перепёлочек. А они, братец мой, перепёпочки-то, из воронежских степей в замороженном виде присланы.

И он очень обстоятельно и подробно начал объяснять трёхзвездному сенатору и дамам преимущества дичи, ловленной соколами, а не в тенёта. Завязался разговор о перепелах.

Владимир Петрович по скромности как своего характера, так и общественного положения за всё время обеда не сказал ни слова.

После кофе гости стали расходиться. Синицын, подойдя к Бурнашёву, повторил своё приглашение. Тот виновато заулыбался и законфузился.

— Чего вы? Или забыли, что хотели иметь?

— Афанасий Иванович, голубчик, — взмолился Бурнашёв. — Вы мне позвольте вперёд домой съездить. Вам, как старому знакомому, признаться не стыдно: мозоли. Сапоги сегодня только первый раз надел, и сил никаких нету.

— А, — с серьёзным видом протянул Синицын. — Поезжайте, поезжайте, но только помните: я вас жду.

Всю дорогу домой Владимир Петрович переживал этот столь льстивший его тщеславию обед. Несмотря даже на боль, которую причиняла тесная обувь, он улыбался самодовольно и счастливо.

Дома в прихожей к нему с растерянными, испуганными лицами бросились мать и сестра.

— Володенька, родной, да что ж это такое? — захлёбываясь слезами и словами, говорили они. — Нужно скорее ехать просить... жаловаться... ведь ты же ничего не сделал...

— Что случилось?! — чувствуя, как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашёв.

— Жандарм за тобой. Ждёт тебя там.

По зале, заложив руки за спину, с терпеливым и равнодушным видом расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашёва, он поспешно спросил, чуть наклоняя голову:

— Бурнашёв? Владимир Петрович? Приказано немедленно доставить вас в Третье отделение собственной его величества канцелярии.

И опять поклонился.

Владимир Петрович попытался что-то сказать — получилось ёкающее непонятное бормотанье. Жандарм щёлкнул шпорами, приглашая следовать за ним, и Владимир Петрович послушно, нахлобучив на голову шляпу, — шубы он снять не успел, — в тех же тесных сапогах, на том же самом извозчике, на котором он должен был ехать к Синицыну, позволил отвезти себя к Цепному мосту. В голове беспорядочно оползающей кучей громоздилась невероятная путаница мыслей.

У Цепного моста сани завернули во двор. Владимир Петрович попробовал подняться вслед за выскочившим проворно капитаном. Словно за эти полчаса состарился он на двадцать лет или его хватил удар — не слушались ноги, и руки беспомощно цеплялись то за облучок саней, то за кушак извозчика. На лестнице жандарм должен был останавливаться и ждать, так медленно поднимался Владимир Петрович.

Комната, куда его ввели, была просторной и светлой. Окна выходили на Фонтанку. Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скозились и багровели.

Жандарм, доставивший его сюда, вышел, не сказав ни слова. Владимир Петрович

оглянулся растерянно и беспомощно. Только сейчас он заметил в углу застеленную постель. От вида этой постели ему вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и жалко себя, что он заплакал.

Сколько прошло времени, он не знал, во всяком случае за окнами была густая чернильная тьма, когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами жандармы, широко распахнулась и тотчас же захлопнулась дверь. Кто-то быстрым решительным шагом вошёл в комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только мундир, блеснувшее золото эполет да мягкий звон шпор переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, его мутило.

— Сидите, сидите, — небрежно бросил вошедший, заметив, что арестованный делает тщетную попытку подняться. — Вы не замёрзли? Тут холодно, — так же небрежно, должно быть занятый своими мыслями, спросил он.

Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду в сердце Бурнашёва.

Пересиливая дрожь, он постарался улыбнуться возможно приветливее, опять попытался встать.

«Проклятый сапожник. Я так и не переобулся. Господи, за что мне, несчастному, такие страдания?» — морщась от боли, подумал он.

Офицер в гвардейском Преображенском мундире присел к столу. Владимир Петрович заглядывал ему в лицо, старался поймать его взгляд.

— Ведь мы с вами знакомы. Извольте помнить: вы у меня справочку для вашего дядюшки брали, — искательно лебезил он. — Скажите ж, Евгений Петрович, на милость, что это за камуфлет такой? Ума приложить не могу — за что меня взяли.

Преображенец рассеянно и вместе с тем удивлённо посмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно сжалось и упало сердце.

«Неужели ошибся?! Неужели это не Самсонов?! Неужели не узнаёт?! Пропал, пропал совсем!»

На него смотрело незнакомое, с резкими, осунувшимися чертами лицо, только вот глаза с голубым пристальным взглядом всё те же, но сейчас они горели тяжёлым блеском, как будто Самсонов не спал уже много ночей.

— Знакомы? Возможно. Не помню, — рассеянно бросил он, выкладывая на стол перед собой лист бумаги. — Ваше имя, фамилия, чин? Из кого приходите? Место служения?

Владимир Петрович заплетающимся языком ответил на все вопросы.

— Так. Теперь скажите, от кого вы услышали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта»?

«Попался, конечно! — с отчаянием пронеслось в голове. — Говорил мне Синицын. Никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры».

Против воли, сам не понимая, как он их запомнил, он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездоносный сенатор.

— Я сам их осуждаю. Стихи эти суть не что иное, как призыв к революции. Это отрывок печальной памяти декабризма, это даже опаснее. Единственно из болезненного к литературе любопытства...

Самсонов прервал резко:

— Но и вы их давали списывать. Например, библиотекарю Цветаеву.

— Точно так-с, но это человек благонамереннейших мыслей...

Его, казалось, не слушали.

— От кого вы их получили, я вас спрашиваю?

— От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он первый мне похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда хвастает, что первый достаёт стихи ещё до печати.

— А Глинка где достал — вы знаете?

Самсонов говорил усталым равнодушным голосом. Бурнашёв заметил, что он не записывает его ответов, и это придало ему мужества.

— Он называл фамилию, только я запомнил. Отставной ротмистр их, то есть Харьковского уланского полка. Нигорин, кажется.

У Самсонова по губам скользнула улыбка.

— Вы от Глинки, Глинка от Нигорина, а с самим автором, корнетом Лермонтовым, вы никогда не встречались? Его лично не знаете?

— Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. Раз как-то на лестнице у одного моего хорошего знакомого столкнулся и то только потом узнал, что это был Лермонтов.

Самсонов опять улыбнулся.

— Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили. Но...

Он жестом остановил порывавшегося говорить Бурнашёва.

— Потрудитесь запомнить. Этот наш разговор и вообще ваше пребывание здесь должны остаться в совершенном секрете. Поняли? Иначе для вас опять будут неприятности.

IX

Вероятно, даже и Бенкендорф подивился бы рвению своего адъютанта, с каким тот выполнил данное поручение. «Вслушиваясь и направляя», Евгений Петрович испытывал что-то похожее на обретенный и благодетельный покой. Ещё говорили о несчастном Пушкине, ещё осуждали или сочувствовали его вдове, ещё гадали о причинах неизменно сопутствовавшего Дантесу счастья. Этими пересудами, этой воркотливой, уже начинавшей многим надоедать болтовнёй с него снимали муку его самолюбивых терзаний. Наступивший Великий пост, словно глубоким вздохом, перевёл дыхание.

Сегодня он должен был снять показание с арестованного «за сочинение недозволительных стихов» корнета Лермонтова. Он уже три дня откладывал эту поездку. Самый звук этого имени был ему неприятен. Он неизбежно вызывал в памяти мохнатый серый рассвет, заваленную, как мёртвыми, пьяными телами комнату, боль в сердце, поколебленную веру в любовь, наглую улыбку наглого гусара.

С чувством неясным и смутным для самого себя ехал Евгений Петрович к Главному штабу, где был заключён арестованный Лермонтов.

В маленькой комнатке со стенами, испещрёнными надписями и рисунками сажей, с кроватью из голых досок, с простым деревянным столом тускло горела одинокая свеча.

Разросшаяся во всю стену тень колыхнулась, когда вошёл Самсонов, отползла в угол. Лермонтов с поспешностью отодвинул от себя клочок серой обёрточной бумаги, на которой он что-то писал обгорелой лучинкой, привстал с табурета.

— По поручению его сиятельства, господина шефа жандармов и командующего императорской Главной квартирой, снять показание по дачу о недозволительных стихах. Гвардии штабс-капитан Самсонов.

Лермонтов с едва заметной усмешкой склонил голову.

Свеча освещала сейчас только подбородок, улыбка пропадала в тени, но и так Евгению Петровичу она показалась жалкой, униженной и виноватой. Он оглянулся, ища места, где бы присесть. Лермонтов придвинул ему табуретку, мягко сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Здесь у стола вам будет удобнее.

Евгению Петровичу не хотелось упускать из взора его лицо, он пристроился в углу, осторожно отодвинув какую-то еду и стакан, достал бумагу и карандаш.

Голос Лермонтова показался ему убитым.

— ...Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшим участием, — говорил Лермонтов, — какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и наконец вынужден сделать шаг, противный законам земным и небесным... защищая честь своей жены в глазах строгого света.

Словно в комнату ворвался порыв свежего ветра, вздрогнул Самсонов, нервно поправил сползшую с плеча шинель.

— Другие, особенно дамы, — тем же ровным, опавшим голосом продолжал Лермонтов, — оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком,

говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурён собой; они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее... Не имея, быть может, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сражённого рукой Божьей, человека, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого, и врождённое чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осуждённого зашевелилось во мне ещё сильнее по причине болезненно раздражённых нервов. Он и в самом деле не то, что о нём думают. Той бабе у Нигорина и вправду открыта его душа, — почти умилённо подумал Самсонов, но сейчас же это заслонило и стёрлось привычным недоверием к словам.

— Я слушаю. Пожалуйста, дальше, — сухо сказал он.

— Когда я спрашивал, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, — вероятно, чтоб придать себе более весу, — что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился — надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, но вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь император, несмотря на прежние заблуждения покойного, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли, высшего круга общества увеличила в моём воображении, очертила ещё более несправедливость последнего...

У Евгения Петровича скользнула по губам довольная и ироническая улыбка.

— Так вы полагаете, что вы высказывали в вашем сочинении мнение правительства? — спросил он.

— Я был твёрдо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетённым, — тихо сказал Лермонтов.

«Чего он трусит? — брезгливо поморщился Самсонов. — Неужели не знает, что ему ничего не будет, если даже под арест сажают не на гауптвахту?»

— Этот опыт был первый и последний в этом роде, — между тем поспешно опять заговорил Лермонтов, — вредный, как я прежде мыслил и как теперь мыслю, для других ещё более, чем для меня. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что, к несчастью, я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель, — Самсонову показалось, что у него дрогнул голос, — один мой приятель просил меня их списать. Вероятно, он их показал как новость другому, и таким образом они разошлись. Я ещё не выезжал и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведённого ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал.

«Врёт», — решил про себя Самсонов, а вслух, брезгливо поморщившись, спросил:

— Кто этот ваш приятель?

— Раевский.

Когда Самсонов вышел, Лермонтов с минуту весело и радостно смотрел на дверь. Целый день сегодня теснили сердце странные и новые для него чувства. Заточение, в котором не дают даже чернил и бумаги, казалось, делало его самым несчастным на свете. Допрашивать приезжали и корпусный аудитор, и от военно-судной комиссии, а вот сейчас и жандарм. Надежда на то, что всё кончится пустяками, что бабушка сумеет выхлопотать ему прощение, сменялась страхом безвестности. Казалось — его все забыли. Это стало в конце концов таким горьким, что думать о себе больше было невозможно. И вот тогда в сердце вкралась умиленная, сладкая печаль. Чувство было настолько ново, настолько неожиданно, что он долго шагал по комнате, стараясь справиться с охватившим волнением. Потом подошёл к столу, обжёг на свече отщеплённую от стола лучинку, на клочке серой бумаги, в которой были завёрнуты принесённые сегодня из дома тарелки с едой, без поправок, без помарок, написал:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою.
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную.
Дай ей спутников, полных внимания.
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Написав, долго сидел умилённый и растроганный. Казалось, этими строчками он выдал расписку, что навсегда отказывается от собственного счастья. Одно сознание что он может так желать его другому, переполняло сердце горделивым торжеством.

— Да, да, вот и Дарья говорила, — она женским чутьём понимает в этом — не любит, не может Варенька любить такого. Ну, пусть и не любит, только бы ей хорошо. Милая, милая, — шептал он с восторженной и благородной улыбкой.

Сейчас, после ухода Самсонова, весело и легко на сердце было только одно мгновенье. Словно из темноты протянулась рука, замахнулась схватить его. Он вскрикнул:

— Я? Я? И не запнувшись?!

Слова, как рыданья, душили. Их нужно было высказать, излить, освободиться от них. Он рванулся к столу. На глаза попался клочок бумаги со стихами. Раздражённо смахнул его на пол.

— Святослав, ты прости, — шептал горячо и отрывисто, — я люблю тебя, ты настоящий друг, знаю, знаю... Даже сидя под арестом, думаешь только обо мне. Ухитрился прислать записку, что надо говорить... А я... нет, нет, это невозможно.

Той же лучинкой, какой писал стихи, торопливо набрасывал на обрывке:

Ты не можешь вообразить моего отчаяния... Я сначала не говорил про тебя... Меня допрашивали от государя — жандармы, — сказали, что тебе ничего не будет, а я запрусь — меня в солдаты... Я вспомнил бабушку и не смог... Я тебя принёс ей в жертву...

Остановился, с минуту смотрел тупым невидящим взглядом на бумагу, потом схватил, изорвал её в мелкие клочки. Бросился на голые доски кровати. Слезы бессилья, злобы, раскаянья, стыда хотел удержать хриплым вскриком и не мог.

Х

Город просыпался. Отпирались лавки. Из ворот с грохотом выезжали гружёные подводы. Возле уличных фонтанов переругивались и гремели вёдрами водовозы. От почтовой станции вверх по Мясницкой неслись, обгоняя, брички и запряжённые в четвёрку кареты. Казённая почтовая тележка тарыхтела и прыгала по неровной мостовой.

Ослепительно белой, словно вымытая майским солнцем, кинулась в глаза стена Китай-города.

Над Москвой-рекой главы кремлёвских церквей кутались дымкой разгоравшегося зноя. В Замоскворечье, передразниваясь, звонили к обедне сразу в нескольких местах.

Лермонтов выпрямился, поправил кожаную подушку за спиной. Открывшаяся глазам картина, колокольный весёлый перезвон неприятно напомнили о почти месячном московском беспутстве, о недописанной поэме, пустых, без вкуса и радости прожитых днях.

Хотелось торопливой деловитости, быстро бегущих мыслей, хотелось, чтобы в голове прочно и ладно складывались оборвавшиеся на бумаге строчки. Так иногда бывало. Потом они записывались просто, как выученные наизусть. Но сейчас не удавалось и это.

«Почему это? — лениво копошилось в голове. — Почему эта тема так цепко держит меня?»

Сюжет дал рассказ, слышанный ещё в пору его университетского пребывания в Москве. У молодого замоскворецкого купца была красавица жена, никуда не выходившая, кроме церкви и родных, да и то не иначе как в сопровождении старухи-няньки. Какой-то лихой гусар, тщетно добивавшийся знакомства с красавицей купчихой, похитил её на улице, когда она возвращалась от всенощной. Муж отомстил за поруганье и затем, арестованный, наложил на себя руки.

Конечно, дело не в сюжете, — написать такую поэму потянули златоглавые московские церкви, вечерний переполненный звон, пушкинские старинные песни, вид Кремля, брезгливая ненависть и отвращение ко всему сегодняшнему. Но почему он ухватился именно за этот сюжет, что было ему близкого в страданиях мужа, кладущего голову из-за неверной жены? Всегда издевался над ревнивыми страданиями обманываемых мужей, все они казались смешными глупцами, в женскую верность, как и в существование драконов, не верил вообще. А вот сейчас этот в суматохе противоречивых мыслей родившийся купец Калашников был дорог и близок, как брат, друг, болеющий одной с ним болью. В памяти проступили так ярко, что их захотелось произнести вслух, другие строчки. Вспомнил ранний петербургский вечер, горячий спор с кузеном Столыпным, братом Монго. Столыпин доказывал, что Пушкин не мог, не вправе был требовать от своей жены любви. Пушкин — урод, безобразный ревнивец. Дантес — а может, и не Дантес, — красавец, блестящий и занимательный любовник, не равный ему ни положением, ни внешностью. Как тогда, от одной мысли, что и его — невидного кривоногого Маешку — могут презирать, смеяться над его страстями, холодное, сводящее мышцы бешенство подступило к сердцу. Вслух скверно и длинно выругался. Дремавший на облучке Андрюшка встрепенулся.

— Чего изволите, Михаил Юрьевич?

— Ничего. Дурак, пошёл к...

Андрюшка опять дугой выгнул спину, головой ушёл в плечи.

Навстречу, с юга, ветер душным, тяжким дыханием пахнул в лицо. Проехали заставу. В густой и яркой зелени прямо и застыло, как лунатик, прошёл монастырь с белой высокой колокольной. Ветер на гряды тянувшихся по обе стороны огородов, на кряжистые избушки подмосковных деревень гнал тучи пыли. Солнце, скрываясь в облаках, как раскачиваемый в руке фонарь, перебрасывало с места на место золотые полосы.

— Андрюшка! Как будто дождь собирается?

— Похоже.

— Отстегни фартук.

Лермонтов глубже, по самые уши надвинул уродливый кивер из чёрного барашка.

Кругом всё стихло, пропал и ветер. Серая скучная тень легла на землю. Вдалеке, словно за горами, рассыпался первый удар грома. Дорожная пыль покрылась рябинами первых дождевых капель.

Ямщик остановил тележку, соскочил с облучка, перебрасывая кнут из руки в руку, натягивая на плечи кожух. Андрюшка застёгивал фартук.

От непроходившего чувства жалости к нежившему Степану Калашникову

стало противно и обидно. Обида вызывала воспоминания горькие и унижительные. Если бы не дождь, частой сеткой занавесивший дали, он выпрыгнул бы из тележки, до изнеможения шагал бы по дороге.

Сначала ему было приказано оставить Петербург в течение сорока восьми часов, то есть ровно во столько времени, во сколько могла бы быть готова новая форма. Бабушка хлопотала всюду, где только могла. Ему разрешили Пасху пробить в столице.

Покидать Петербург было жалко. Но рисоваться обречённостью ссылаемого на Кавказ, под пули, на погибель, было так соблазнительно. Известность, которую доставила история со стихами, кружила голову. Вероятно, никогда ещё до сих пор он не говорил столько дерзостей, не издевался так откровенно над всеми, кто только отваживался подойти к нему с дружелюбием. Экзотический, непривычный для Петербурга мундир заставлял обращать на себя внимание, где бы в нём ни появился Лермонтов.

На одном вечере столкнулся с Самсоновым. Тот с иронической усмешкой оглядел его чёрную куртку с кушаком, широкие с краповыми лампасами шаровары, оглядел всю его маленькую фигурку, ставшую от этого наряда ещё более невзрачной и неуклюжей.

— Вас смешит эта форма? Не правда ли, она несколько портит фон этого вечера?

— В моих глазах никакой мундир не может казаться недостойным, ибо каждый, носящий его, одинаково служит его величеству, — сухо ответил Самсонов.

У Лермонтова в глазах пробежал торжествующий и злой огонёк.

— С той только разницей, что одни несут эту службу на поле брани, а другие на паркете гостиных.

— Вероятно, вы и нашли себя недостаточно способным для последней, — хмуро улыбнулся Самсонов, делая движение уйти.

Лермонтов развязно и быстро бросил ему вслед:

— Э, стоит ли нам в этом пикироваться? Отсюда, если вы не хотите задохнуться, есть только две дороги. Для немногих — в Париж, для многих, и меня в том числе, — на Кавказ, причём лично для себя вы, кажется, разыскали и третью.

И он выразительно посмотрел на его золотой жандармский аксельбант.

Самсонов, только недоумённо пожав плечом, молча отошёл прочь.

На другой день Лермонтов хвастался перед приятелями, как ловко отомстил издававшемуся над ним на допросе жандарму.

Но выхлопотанная бабкой отсрочка близилась к концу. Нужно было готовиться к отъезду.

...Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил:

— Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь как расходился, так и хлещет.

Действительно, дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой.

У первого же по пути двора они остановились.

Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать, — он досадливо махнул рукой:

— Не надо. Поди принеси мне портфель.

Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец с лукавой горькой усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ, отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Он выбрал из этой груды увесистый, запечатанный сургучом конверт. На конверте неразборчивой скорописью было написано:

Его благородию
поручику МАРТЫНОВУ
НИКОЛАЮ СОЛОМОНОВИЧУ
в собственные руки.

Лермонтов повертел его в руках: так держат, не решаясь распечатать, послания любимых и далёких. Улыбка, искушённая и недобрая, бродила по лицу. Ясным отсутствующим взглядом смотря куда-то мимо рук, державших пакет, сломал сургуч. Туго набитый конверт пришлось разорвать. Он скомкал и отбросил его прочь, скомкал, не читая, и сложенный вчетверо лист, исписанный тем же почерком, что и на конверте. Выпавшие три сторублёвые ассигнации небрежно сунул в карман шаровар. Лицо осветилось довольной и весёлой улыбкой. Разгладил и углубился в огромное, чуть ли не на десяти страницах, посланье. Почерк был тонкий и мелкий; так пишут женщины, готически вырисовывая большие Н и L и узкой прямой петлёй ставя маленькие. «Ха-ха, а я думая, меня честят хуже, — произнёс вслух, прочитав всё до последней строчки. Довольное и весёлое выражение не сходило с лица. — А всё-таки хорошо, что распечатал. Мартышка дурак. Пожалуй, чего доброго, вздумал бы ещё объясняться». Он вдруг рассмеялся громко и весело.

— Андрюшка, подай огня!

Андрюшка, доставая огонь, завозился в снях, потом принёс зажжённую свечку.

Лермонтов смял в комок письмо вместе с конвертом, бросил на шесток. Потом встал, поднёс к бумаге свечку. Комок, расплзаясь и развёртываясь, запылал лёгким и быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка чёрного трепещущего пепла.

Взгляд сделался печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали чёрные, покрывшиеся сединой листки сожжённой бумаги.

XI

Мартынова Лермонтов встретил на следующий же день после своего приезда в Москву. Завтракал у «Яра». Он не выносил одиночества в трактирах, скуки ради начал уже придирается к подававшей прислуге, как вдруг в дверях появился Мартынов.

Мартынова, хотя тот и был моложе его по выпуску, он знал ещё со школы. Это был весьма недалёкий и самовлюблённый малый, немного хвастливый, немного заносчивый, но он служил в кавалергардах, обладал красивой и видной наружностью, считался неплохим товарищем, не был назойлив, глупость его не раздражала. Они встретились как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтёром на Кавказ. Это сблизило ещё больше, встречаться стали ежедневно, вместе завтракали у «Яра», вместе на целые ночи укатывали к Пресненским прудам к цыганам. Мартынову, видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого, наконец почти накануне отъезда Мартынова (сам он задерживался в Москве ещё на некоторое время) он согласился.

Что-то похожее на смущенье, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представлял его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне.

— Это, Натали, Лермонтов. Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так понравились тебе.

На Лермонтова смотрели испуганным, но храбро взметнувшимся взором.

Он был поражён. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое, но вместе с тем и неопровержимое сходство с любовницей Нигорина. И у этой, когда ей будет под тридцать, губы будут складываться только для хищной, плотоядной улыбки, и она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет, нет, таких-то и нужно бояться. Но когда ещё? А сейчас...

На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда во что бы то ни стало одолеть препятствие перемешались в душе.

Но конь не обманул.

Это случилось уже после отъезда брата.

Переходы от пристального нежного внимания к равнодушной холодности, горькие

признания о своей обречённости, страстные строчки стихов не оставили безразличной Наталью Соломоновну. Уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители как будто что-то начали примечать, принимали теперь с подчёркнутой холодностью, только что не отказывали от дома. И он всё-таки решился.

Был час обеда. Лакей не пошёл провожать домашнего завсегдатая. В тёмном коридоре возле буфетной столкнулся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула. Впрочем, она всегда вскрикивала, когда её целовали. Он крепко сжал её руки выше кистей. В памяти осталось что-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь, клонившееся в его руках к земле, острый угол сундука, о который больно ударилось колено, слабый, изнемогающий вскрик боли. Пустота в собственном успокоенном сердце вспоминалась потом как что-то отдельное, не связанное со всем этим.

Весь обед он говорил без умолку. Наталья Соломоновна, сказавшись больной, к столу не вышла. После обеда вместе с Мартыновым-отцом курили на застеклённой, только на днях открытой террасе. Заходившее солнце прямыми полосами прорезывало начинавшую зеленеть растительность. Садовники расчищали дорожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву, почерневшие прелые листья. Густой синий дым стлался по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня пробивались из кучи. Садовники подкладывали по краям сухой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон, высоко поднимался вверх, дым делался лёгким и белым. Сгорала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять заволакивалась дымом, медленно тлела только по краям. Лермонтов усмехнулся.

— Так и прошлое: нужно сжигать терпеливо и упорно. И всё равно не сожжёшь.

Об этой куче медленно тлеющего мусора вспомнил сейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке.

В избу вошёл ямщик, снимая шапку и почёсываясь, сказал:

— Похоже, что перестает. Теперь и до станции пустое осталось. Едем, что ли, ваше благородие?

Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы.

В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции уже кончились. Зимняя стоянка армейского полка, да ещё в такой глуши, конечно, после Царского могла только пугать. Он попросился, ему не препятствовали, и за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ, всю линию от Кизляра до Тамани.

Осенью на Кавказ ожидали государя. В сентябре пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочайшему смотру.

Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка Николай смотрел в Тифлисе и остался ими доволен. Бенкендорф сдержал данное старухе Арсеньевой обещание: на другой же день после смотра, одиннадцатого октября, последовал приказ:

Переводится:

Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом.

Прошлогодня перепрелая листва дымилась и не сгорала. Ещё с Кавказа Лермонтов писал Раевскому:

Любезный друг, Святослав.

Я полагаю, что либо моих два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.

Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и

если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение ³¹ веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом: изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шухе, в Кубе, Чемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьём за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское, даже.....

.....
Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато жизнь веду примерную: пью вино, только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроём из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется), — и чуть не попались в шайку лезгин. — Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целые дни.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остаётся только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским ³².

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург: увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьёзно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не забудь меня и верь всё-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

Вечно тебе преданный

М. Лермонтов

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Первая беременность Надежды Фёдоровны случилась только на четвёртом году её замужества. Это событие было для неё самой настолько непонятным и неожиданным, что и

³¹ Гвардейский Гродненский полк стоял в Селищенских казармах, в Новгородском округе Военных поселений.

³² Перовский Василий Алексеевич (1795–1857) — генерал-адъютант, начальник Хивинских походов 1839–1840 гг.

мужу она не решилась сказать об этом сразу, а только когда уже сделался привычным непрекращающийся и тонкий звон в ушах, когда уже никак не пугали всегда внезапно и без всякой причины холодевшие на руках и ногах пальцы.

Роды были мучительные и трудные. Только на шестой день Надежда Фёдоровна стала узнавать окружающих, попросила позвать к ней мужа.

В белом кружевном чепце, с обострившимися чертами бледного исхудавшего лица, она показалась Евгению Петровичу незнакомой, но страшно близкой, милой, маленькой, страдающей девочкой. Сердце мучительно сжалось от жалости и любви к ней. Он наклонился, осторожно коснулся губами её лба. От взгляда доверчиво смотревших на него глаз хотелось плакать. Слова:

— Евгений, самый мой дорогой, самый любимый! — скорее понял, чем расслышал Самсонов.

Он тихо опустился на колени около кровати, гладил и целовал бессильно свесившуюся руку.

Надежда Фёдоровна говорила слабым, прерывающимся голосом:

— Ведь это только оттого, что у нас не было ребёнка, нам было так нехорошо. Теперь уж так не будет? Правда? Милый мой, ведь правда же это только от этого?

Евгений Петрович, с трудом подавляя слёзы, мягко остановил её:

— Тебе нельзя ещё много говорить. Помолчи, Надин, помолчи, дорогая...

Она посмотрела обиженно и кротко.

— А на него ты даже не захотел взглянуть? Ведь он и твой тоже, твой ведь.

Последнее она произнесла совсем неслышно, одними губами.

Евгений Петрович вздрогнул, как будто в самое сердце ударили чем-то тяжёлым и твёрдым. Он медленно поднялся с колен, подошёл и заглянул в колыбельку.

Сперва пышная пена кружев и полотна вызвала только холодное недоумение, как корзина, полная скомканного белья. Потом кормилица осторожно разобрала и откинула покрывало. Вид крохотного, как уродливая и невыразительная карикатура, личика с красной, словно вымоченной кожей заставил брезгливо поморщиться, отвернуться. Сразу стало противно до отвращения. Умилению и нежности, так внезапно охватившим его при виде бледного страдающего лица Надежды Фёдоровны, подходил конец.

Напоминание о том, что он отец, что у него есть теперь какие-то новые обязанности, вызывало досаду и скуку. Он хотел бы забыть об этом, но забыть было трудно: напоминали всякий и каждый.

Бенкендорф на первом же докладе, сморщив дряблые щёки, прожевал тоскливую улыбку:

— Поздравляю, mon cher, поздравляю... Очень рад за тебя, теперь ты с сыном...

Бенкендорф был физиономист. Поэтому он тотчас же оборвал своё поздравление, как ни в чём не бывало заговорил о другом.

— Да, mon cher, знаешь ли, — ошибся я в Лермонтове... Вон ведь опять какую пакость учинил, и вредный ведь, вредный какой оказался... Я раньше, помнишь, здесь же с тобой говорил, думал, что шалопай только, подрастёт — исправится. Сам хлопотал за него у государя, по моему ходатайству и с Кавказа и в свой полк обратно вернулся... Я ради бабки его это делал: очень достойная и благочестивая старушка... Её жалко... Но теперь баста: в гвардию уже не вернётся. И отставочку тоже не скоро, не скоро себе выслужит. Пусть там на Кавказе просвежится как следует, вредный дух из него там выдует. Возгордел, возмечтал о себе невесть что... осуждает.

В тот самый день Лермонтов был у Карамзиных с прощальным визитом. Вечером он покидал Петербург.

За окнами мягко светилось апрельское бледно-зелёное небо, над Невой, над голыми чёрными деревьями Летнего сада бежали быстрые кудрявые облака. Он засмотрелся на них, как замороженный.

— Хорошо, как хорошо, — прошептал с глубоким и тихим вздохом.

У него был такой мечтательный, такой растерянный вид, что никто не решился спросить, что, собственно, так хорошо. По лицу бродила неловкая, смущённая улыбка. Так жалко себя не было ещё никогда.

Его уважали, его хвалили, им восторгались, ему расточали различные знаки внимания — это было где-то вне жизни. Близко, совсем рядом, вот только сказать слово, — и он, умилённый и кроткий, простит всем и всё, жизнь переполнится добром и милосердием. Этого слова никто не сказал. Из памяти, будто не на бумаге, а на ней вырисованы эти строчки, не уходило:

Ваше императорское высочество!

Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрён до сих пор надеждой иметь возможность усердной службой загладить мой поступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит ещё обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту³³ в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести, но теперь мысль, что его императорское величество и ваше высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих...

Было тяжело и унизительно сознавать, что он написал это письмо, на которое не последовало даже ответа, ещё унизительнее помнить, что одну минуту он даже подумал:

«Ну и ладно. Пусть прочтёт только, и то хорошо».

Заключительная строчка. «Вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов Тенгинского пехотного полка поручик» и сейчас переполняла сердце горечью.

Вздых отчаяния и обиды не смог подавить, отворачиваясь от окна. С неловкой улыбкой попросил у хозяев листок бумаги.

— Знаете, хочется записать, строчки какие-то в голову лезут...

Через десять минут читал глухим, словно надорвавшимся голосом:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания:
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Когда окончил читать, в глазах стояли слёзы.

³³ Барант Эрнест (1818–1859) — атташе французского посольства, сын посла А. Г. П. Баранта. Имел дуэль с Лермонтовым 18 февраля 1840 г. после ссоры на балу у графини Лаваль.

II

Был ещё ранний час, но день уже изнемогал от зноя. Ветер едва мог пошевелить занавеску у окна и был так горяч, будто вырывался из печки. Под потолком сонно и надоедно жужжали мухи.

Три недели боевого похода, полных всяких неожиданностей; смерть, казалось, караулившая из-за завалов в узких, врубавшихся в жидкий лес просеках, в тишине знойных и неподвижных полдней, в оврагах и долинах, то безмолвных, то расколотых тресками залпов; жизнь, полная не прекращающейся целые сутки походной суеты, жизнь, по-деловому серьёзная даже тогда, когда делать было решительно нечего, эта жизнь отняла, уничтожила даже самое представление о каком бы то ни было распорядке, когда нужно что-то придумывать, чтобы занять себя.

Лермонтов потянулся, зевая.

Вид зелёного, в чёрных сползающих плешах, Машука нагонял лень и тоску. Жара мешала думать. Он крикнул, чтоб давали одеваться.

У Елизаветинского источника по утрам собиралось всё «водяное» общество. Там можно было узнать все местные новости, встретить знакомых, познакомиться с новыми приезжими. Узкая ухабистая дорога, неизвестно по какой причине называвшаяся улицей, вела туда. У источника, на площадке перед каменной, из серого песчаника галереей озабоченно расхаживали, ожидая действия вод три полные и пожилые дамы. В тени на каменной скамейке с унылым видом сидело несколько военных и штатских. Два офицера были на костылях, у одного рука покоилась на перевязи.

В стороне от них, прислонясь к каменному выступу галереи, стоял высокий и статный брюнет в сюртуке без эполет и в белой фуражке. В крутых кудрях уже заметно пробивалась седина, но лицо у него было свежее и молодое.

Лермонтов ещё издали, приветливо улыбаясь, козырнул высокому брюнету.

У того улыбка не проросла из густых, на кавказский манер запущенных усов. Впрочем, руку он протянул с живостью и как бы обрадованный.

— Здравствуйте, здравствуйте, Лермонтов. Очень рад вас видеть здесь без костыля и не с подвязанной рукой. Право, вам должно чертовски везти, если вас уже отпускают к водам.

Лермонтов попытался изобразить на лице страдальческую гримасу:

— Не совсем уже так, господин полковник, проклятая ревматизма и вот... — он схватился за бок, — нервные боли. Нет, я решительно и в этом несчастливее сих господ.

Полковник, словно он только сейчас их заметил, поглядел на раненых офицеров. Лицо осталось таким же невозмутимым, равнодушным, только сквозь улыбку мелькнули белые зубы.

— Серьёзно? У меня такое впечатление, что вы репетируете предстоящий разговор с какой-то дамой.

— Вы почти угадали, — рассмеялся Лермонтов. — Что делать, если здесь, на водах, самая великая милость судьбы — роман с приезжей провинциалкой. Но только, Константин Карлович, это просто так, вне всяких предвидений, одна дурная привычка. Да потом, что же ещё прикажете делать, когда от жары мозги отказываются работать.

У полковника улыбка опять спряталась в гуще усов. Он пристальным, неотрывающимся взглядом смотрел в сторону ванного домика. Теперь около него появилось ещё одно новое лицо, и туда были устремлены взоры скучавших на скамейке штатских и военных.

— По-моему, Лермонтов, — сказал он, — это относится к вам. Вряд ли мои седина стоят того, чтобы их так пристально лорнировали.

Лермонтов со скучающей, недовольной гримасой повернул голову.

Шагах в двадцати от них на скамейке возле ванного домика сидела дама, прикрываясь от солнца кружевным большим шарфом. Солнце в один ослепляющий блеск слило и песок

площадки, и белую стенку домика. Из этого блеска, из неподвижно застывшей глади расплавленного сияния, казалось, не смотрели, а плыли глаза. Глаза были первое, что он отметил, запечатлел в памяти. Большие и серые, они были так лучисты, так светлы, что тот, кому они принадлежали, не мог, не должен быть обыкновенным человеком. Даже длинные чёрные ресницы не гасили этого сияния.

Эта дама была одета с изяществом отменным и строгим, достойным лучшего места и общества. Кружевной венецианский платок оттенял смуглую матовость лица, её причёске могли бы позавидовать в любом петербургском салоне, высокий корсаж ничего не подчёркивал и не менял в её фигуре. Полковник явно преувеличивал: она никого не лорнировала, пожалуй, даже ни на кого и не смотрела.

— Кто это? Я не знаю, — небрежно проронил Лермонтов.

Его собеседник улыбнулся хитро и значительно.

— Жена своего мужа. Оммер де Гелль, не то путешественник, не то дипломат, француз. Во всяком случае, не похоже, чтобы она пребывала здесь с лечебными целями. Вот вам и случай проверить на деле всю привлекательность ваших страданий.

— Это утомительно, Константин Карлович, боюсь, что слишком утомительно, — нехотя вымолвил Лермонтов, но тем не менее пройти вместе с ним мимо незнакомки не отказался.

Глаза полковника улыбались мягко и недоверчиво, и Лермонтову показалось, что он что-то от него таит. Оттого неловкое беспокойство ощутилось в сердце, слова и жесты говорили совсем не то, что он хотел сказать, выражение растерянности и смущения, словно назло, не сходило с лица. Единственным выходом могла быть откровенность, предельная, наглая, как с самим собой. Этот человек такой откровенности совершенно очевидно сторонился.

В Ставрополе, ожидая своей дальнейшей судьбы — направляться ли в один из трёх находившихся в резерве батальонов или получить назначение в действующий отряд, — Лермонтов заметил полковника в мундире того же самого Тенгинского полка, в котором теперь предстояло служить и ему, бывшему лейб-гусару. И покрой платья, и манеры, и та независимость, с которой держался этот полковник, изобличали в нём истинно светского и незаурядного человека. Лермонтов спросил:

— Кто это?

Ему ответили:

— Бывший инженер-подполковник Данзас ³⁴. Сослан за участие в дуэли.

У него напряжённо и трудно наморщились брови. Что-то напоминавшее самодовольное торжество перехватило дыхание.

Секундант последней, трагической дуэли Пушкина нёс ту же кару, что и он, легкомысленный и дерзкий дуэлянт. Он поспешил представиться. Казалось, что тот непременно сойдётся с ним, поймёт его и оценит: ведь, может, и служить-то придётся у него в батальоне. Оскорбительным холодом пахнуло от любезной и мягкой улыбки. Данзас не удивился и не обрадовался, даже не попробовал высказать внешне обязательного для светского человека преклонения и уважения перед его талантом. Ведь не мог же он в самом деле не знать, кто такой Лермонтов.

— Вы не совсем правы: не по собственной воле сюда приводят неравные заслуги. А рисоваться этим... о, это считает для себя обязательным любой армейский фендрик ³⁵, из всех сил старающийся представить себя как беспокойного для правительства человека.

Странно, всякого другого Лермонтов за эту фразу возненавидел бы, от Данзаса он

³⁴ Данзас Константин Карлович (1801–1870) — лицейский товарищ Пушкина, впоследствии генерал-майор.

³⁵ Фендрик (польск. fendrik от нем. Fahnrich). 1. молодой офицер, прапорщик (воен. арг. дореволюц.). 2. Фатоватый молодой человек (разг. фам. пренебр.).

принял её, только смущённо покраснев, как провинившийся школьник. Ещё более странно, что она не положила начала неприязни, не сделала его враждебным и непримиримым. Наоборот, он всегда с почительностью младшего выслушивал Данзаса, что бы тот ни говорил. Во всём, решительно во всём он чувствовал в нём равного, но только — и это стало тяготить раньше, чем прошла неделя, — в Данзасе и это равенство было отмечено каким-то неоспоримым превосходством. Лермонтов почти обрадовался и сейчас этой неожиданной встрече, но вместе с тем с первых же слов, так же, как тогда в Ставрополе, чувство тягостное и напряжённое охватило его.

Мадам де Гелль рассеянно, как бы невзначай, посмотрела на них. Взгляд серых глаз опять вызвал в памяти предрассветное, мягкое и задумчивое сияние. Других таких глаз он не знал, не помнил, но необъяснимое волнение, какое почувствовал при их взгляде, казалось, несомненно утверждало: «Уже однажды таким взором решилась жизнь».

Данзас, чуть сжав локоть, шепнул:

— Вы только третий день в Пятигорске, а мне уже говорили, что эта дама весьма интересует вас. Гордитесь, ваша слава дошла и до Кавказа.

У Лермонтова чуть дёрнулись углы губ. Они отошли всего только несколько шагов от прекрасной незнакомки, но он чувствовал на затылке её пристальный, неотрывающийся взгляд. Казалось, сейчас она должна смотреть с жаждой и отчаянием. Он даже и украдкой не попробовал оглянуться. Походка становилась всё небрежнее и развинченнее. Из боковой аллеи, от цветника, уже успевшего зачохнуть в лучах палящего солнца, шла навстречу им какая-то пара. Неинтересный, курносый и прыщеватый юнкер с торжественно-тупым видом нёс кружевную мантилью голубоглазой и стройной дамы. Дама шла по крайней мере на два шага впереди его. Лермонтов оживился, подтянулся.

— Простите, полковник.

Он торопливо пожал руку Данзасу и устремился к этой паре.

«Нет, она положительно недурна. Почему я раньше никогда не замечал этого?» — подумал, гася в глазах торжествующую усмешку.

— Надежда Фёдоровна! Ведь так? Я не ошибаюсь? Мы уже столько лет не встречались...

Он остановился, приподнимая над головой фуражку.

Дама даже отступила на шаг назад. Юнкер, смотря с досадой и тупо, очевидно не зная, что ему делать, замер на месте.

— Чему приписать такое прояснение вашей памяти, месье Лермонтов? — с улыбкой проговорила дама. — Вчера я была лишена этой чести.

— Исключительно вашей рассеянности и невниманию к моей скромной особе. Вчера вы даже не удостоили взглядом, как я ни добивался этого.

— И вы, робкий юноша, — поспешно, с иронией подхватила она, — не решились даже поклониться, столкнувшись лицом к лицу? Ужасно это на вас похоже.

— Только похоже. Потому что вчера вы, вероятно, приняли за меня кого-то другого. Ведь здесь, на Кавказе; для глаз красивой женщины мы все одинаково безразличны, — не улыбнувшись и со вздохом быстро отпарировал Лермонтов.

Сероглазая незнакомка там, возле ванного домика, должна была видеть все оттенки игры на его лице. О, конечно, она разглядит, что это даже не увлечение.

«Но Самсонов...» Радостное возбуждение помешало даже про себя высказать эту мысль до конца.

Вечером в местной ресторации давали бал.

По углам и возле буфета сучали почтенные и добродетельные папаши и мамыши. Молодёжь, поднимая пыль с плохо натёртого и неровного паркета, кружилась в танцах, кавалеры преимущественно были штатские. Военные допускались только в мундирах, а где взять мундир офицеру, спущенному из экспедиции на какую-нибудь неделю? За раскрытыми окнами чернели купы деревьев и пышные шапки кустарников. В полосе падающего света к окну тянулись головы в военных фуражках. Лишённые возможности принять участие в

танцах развлекались, перебрасываясь через окно с танцующими замечаниями и шутками.

Надежда Фёдоровна давно уже заметила большие и выразительные глаза, жадно пожиравшие её каждый раз, когда она проходила мимо окна. От их взгляда ей делалось беспокойно и как-то чуть-чуть по-страшному томительно.

— С кем вы танцуете мазурку? Надеюсь, со мной?

Она вздрогнула и покраснела.

Под окнами раздался смех. И раньше, чем она могла дать себе отчёт, что это значит, ропот удивления в зале и шумные аплодисменты за окнами объяснили ей всю дерзость поступка.

Лермонтов уверенным, даже как будто небрежным шагом прошёл через всю залу. Его армейский без эполет сюртук вызвал шумное восхищение одних и негодование других. Ни капли не смущаясь и не замечая обращённых на него взоров, он подошёл, к ней.

— Итак... Я ведь вас пригласил.

Ей показалось, что он своим взглядом погасил её взгляд. Как в табачном дыму, расплывались и исчезали лица; отдельные взгляды, словно прорывая эту пелену, казалось, впивались в Надежду Фёдоровну.

Живая подвижная брюнетка с большими серыми глазами посмотрела на них с восхищением. Может быть, это была зависть. Вступили в круг и они и сероглазая брюнетка со своим кавалером почти одновременно.

— *Demain a meme heure nous serons deja a Kislovodsk* ³⁶, - долетело до слуха Надежды Фёдоровны, и ей показалось, что у её кавалера настороженно сдвинулись брови.

Он прошёл с нею тур мазурки, довёл её до места и, чуть коснувшись губами кончиков пальцев, так же невозмутимо, как появился, промаршировал к выходу.

Гром аплодисментов и за окном и в зале приветствовал его поступок.

— *Oh, c'est plus que brave, c'est risqué* ³⁷, - восторженно проговорила рядом мадам де Гелль, и Надежде Фёдоровне она показалась от этих слов неумной и старой.

— Проводите меня, я хочу домой, — бросила она молчавшему с безнадёжным и терпеливым видом юнкеру.

Синяя густая тьма сперва расступилась, потом сжалась, утопила её в себе. Этого пожалеть, этого мгновенного и лёгкого поцелуя руки она ждала. Она чуть сдавила его руку, удержала её в своей, и тогда та, мужская, уверенно и крепко так, что хрустнули кости, стиснула её руку.

Горячее дыхание коснулось щеки. У неё закружилась голова.

Свет, вырвавшийся из раскрытой в этот момент двери, открыл Лермонтову удивлённое и наивно-растерянное личико. В глазах были слёзы.

«Кто научил её так целоваться?» — мелькнуло в голове.

— Завтра — не правда ли? — я увижу вас днём у источника? — услышал он взволнованный и задыхающийся шёпот.

Голос сваял сразу. Ответил он устало и с досадой:

— Завтра я с утра уезжаю в Кисловодск.

III

На решётках перед окном завивался плющ, сквозь него цедило густое вечернее солнце. Тень от пирамидального тополя, как часовая стрелка, переместилась на целую четверть круга. В комнате потемнело, из золотых сделались бронзовыми солнечные пятна на стене. В наступившей внезапно тишине было слышно, как жужжат мухи. Казалось, чтобы

³⁶ Завтра в это время мы будем уже в Кисловодске (фр.).

³⁷ О, это более чем смело, — это рискованно (фр.).

заполнить это молчание, нужно такое количество слов, какого никогда не собирается в памяти.

Мадам де Гелль смотрела вопросительно и ожидающе. На её кружевах — она так и осталась с утра неодетой — жёлтыми полосами отметился закат. От этих ли полос, от вечернего ли густого света переменилось её лицо, стало новым и неприятно чужим. Он стоял у двери. Пульс дробными неровными ударами рассчитывал минуты. Один, два, три, — бесконечное количество ударов нужно, чтобы одолеть только одну минуту. Минуты, как подавленный в груди вздох, не проходили.

Лермонтов медленно снял руку с ручки двери, нерешительно шагнул в её сторону. Как будто она даже не старалась разглядеть его лицо, проговорила с жестокой и трудной улыбкой:

— Почему? Снова и снова «почему»? Неужели вы не понимаете, что спрашивать это... — она остановилась, подыскивая слова, — даже и не бестактно...

Он поднял голову. Грустные глаза глядели виновато.

— Глупо?

— Да, если вы сами сказали это, то глупо. Счастье, что вы можете хоть сознавать, когда поступаете глупо.

Он перебил её с настойчивостью капризного ребёнка:

— Жанна, я не умею и не умел говорить просто, я не знаю, как говорят на языке сердца. Никого ещё, а тем более женщину, я не уважал и не ценил так, как вас, да и вообще я ещё никого и никогда не уважал на свете. Мне трудно, очень трудно, но я не могу не сказать вам этого; я не могу уйти так. Жанна, мне тяжко, так мучительно тяжко, как никогда не бывало в жизни...

— Я это уже слышала.

Только мгновение он смотрел растерянно и безнадежно. По лицу пробежала короткая судорога. Вздох протащил за собой слова:

— Одно это стоит другого прощания.

— Сумейте оценить и такое. Немногие женщины вам скажут, что они слишком плохи для того, чтобы любить вас. И потом, потом...

Она смолкла, почти ласково заглянула в глаза.

— Не печальтесь... Ну, не надо печалиться, маленький... Ну, о чём? У вас была хорошая любовница — это одно уже не так плохо. Нужно приучаться благодарить судьбу за те маленькие радости, которые она посылает, и не проклинать её, когда она их отняла. А потом...

Она рассмеялась совсем просто и весело. Лермонтов насторожился и вздрогнул.

— Что потом?

— Вам же будет вовсе не скучно. У вас ведь есть эта... ну, как её... петербургская франтиха.

— Самсонова, — подсказал Лермонтов.

— Да, да, мадам Самсонова. Согласитесь, что она очень мила.

Он перебил её нетерпеливо и с досадой:

— Мне и счастье-то представляется только в памяти о детстве. Увы, оно неповторимо. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я не помню, хороша собой была она или нет, но её образ и сейчас ещё хранится в моей памяти. Один раз, помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла в куклы; моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чём не имел понятия, — тем не менее это была страсть сильная, хоть ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я ещё не любил так. Тогда же я стал мечтать о дружбе. Она представлялась мне такой бесконечно могущественной, что никакие силы мира не смогли бы её уничтожить. Друзей у меня никогда не было! И вот сейчас...

Он задыхался, растерянно и словно с испугом оглянулся кругом...

— ...сейчас мне сказали, что их у меня и не может быть.

И вдруг заторопился. Порывисто вскочил с кушетки, ткнулся губами в её руку и поспешно, не оглядываясь, выбежал из комнаты.

IV

Казак в замазленном рваном бешмете, тащивший на плече пустой бочонок, посмотрел на Лермонтова с удивлением. Пройдя два шага, он остановился, обернулся назад.

— Ай потерял что, ваше благородие?

Этот вопрос, обращённый к нему совершенно серьёзно и даже как бы с участием, вывел его из оцепенения. Лермонтов расхохотался.

— Да, да, братец, потерял. Вот только искать в Пятигорск надо ехать.

Казак поправил на плече ношу, подумал и, резко тряхнув головой, сказал:

— Ну, так оно и выходит. Не иначе как ко мне идти бы пришлось. Теперь, окромя меня, во всей станице ни у кого коня не достанешь. До утра, чай, на станции ждать-то не будете?

— Не буду.

— Ну так пойдёте, что ли? До Эссентуков я могу дать коня. Отчего не дать, когда человеку ехать требуется, дать можно.

Казак, видимо, был пьян. Он шёл и всё время повторял одно и то же: «Отчего не дать, когда человеку нужно», хвалился, что у него одного только и есть подходящий для этой цели конь.

— Да как же, ты сам посуди, ваше благородие, станица кругом гнилая — одна беднота. Гора да гора — ну что тут будешь делать. И опять еретиками уже который год записаны. Выселяйтесь, мол, — это начальство-то, — в старой вере, говорит, тогда останетесь, а коли нет — всех в православие, и моленной крышка. Ну и переселились. А начальство опять своё: переходит да переходит. Ну, тут и переселяться дальше некуда. Все как есть теперь православные. А коня я дам, ты, ваше благородие, не беспокойся, отчего не дать...

Лермонтова он начинал уже раздражать, он оборвал его резко:

— Ну, довольно болтать! Далеко ли ещё идти-то?

Казак сразу насупился.

— Идти недалеко. А вот много ли дашь за коня-то, если до Эссентуков ехать?

И он остановился, вызываяще тараща глаза.

Пришлось торговаться упорно и долго. Цену он заломил совершенно невозможную. Поладили только после долгой ожесточённой ругани и криков. В хате, как только пришли, засуетилась конфузливо отводившая глаза хозяйка, стала накрывать на стол; казак всё приставал, чтобы Лермонтов попробовал его чихирю³⁸.

— Ну, а конь-то? Скоро, что ли, будет?

Казак осклабился.

— Э-а! Конь-то в горах, чай, сейчас только малый пошёл за ним. Ты чихирю пока выкушай, ваше благородие. Такой чихирь — лучше кахетинского будет.

Мутный, тёплый чихирь, казалось, только со спазмом мог пройти через горло. Казалось ещё, что и тошнота наступит раньше, чем опьянение.

«Не то, не то», — тоскливо и надоедливо моталось в голове.

Словно пересиливая себя, Лермонтов морщился, прихлёбывая из стакана. Любимый, оправленный в камышинку карандаш нервно подрагивал и вертелся в пальцах.

«Что я делаю? Хозяйскую скатерть мажу», — с улыбкой поймал он себя и спрятал в карман карандаш.

На скатерти с наброском женской головки красовались вырисованные французские J, H, J, H.

Он увидел их не сразу, а увидев, удивился, как будто это кто-то другой пытался ими

³⁸ Чихирь — разновидность кавказского виноградного вина домашнего приготовления.

разгадать его мысли. Послюнявил палец, ладонью крепко потёр испачканное место на скатерти. Буквы не стирались.

«Только узнать бы, почему? А это что: пройдёт и забудется», — подумал с тоской и раздражением.

И сейчас же поймал себя, что важно вовсе не узнать, мучается не от этого. К чему пытаться и что узнавать-то, если потерял, и потерял безвозвратно. Унылая, мертвящая злоба на себя, на весь мир, на судьбу — даже в пальцах проступило холодом.

«А только ещё три дня назад, задыхаясь, она шептала, что никогда меня не оставит».

Стиснул руки так, что хрустнули пальцы. Как ужаленный, вскочил с лавки, подёргиваясь и ёжась, прошёлся по горнице.

— Ну что же твой малый?

— Пришёл, сейчас седлать будем.

Лермонтов круто повернулся и снова опустился на лавку.

Мир, как эта низкая хата, два шага — и уже ты упёрся лбом в стенку. И так же, как это маленькое грязное оконце, скупое цедится меркнувший вечерний свет.

Когда выезжал, последние косые лучи солнца, вырвавшись из-за гор, жёлтыми холодными полосами испестрили дорожную пыль. Отстоявшийся за день зной сгустился и отсырел: туман хранил ещё в себе остатки дневной позолоты. Внизу — дорога поднималась в гору — белые хатки и домики в Кисловодске чуть розовели закатным румянцем. В проулках накапливались тени, и вся станица в розовом неверном сиянии, в сумерках, сползавших с гор, в потемневшей и слипшейся в одну косматую шапку зелени потеряла свой обычный знакомый вид. Лермонтов со вздохом приподнялся на стременах, долго не мог оторваться взглядом от этой картины, потом со вздохом ещё более глубоким отвернулся, подался на шею коня. Некованные копыта, как в ладоши, захлопали часто и глухо по мягкой пыли.

Перед самым Пятигорском из-за горы навстречу поднялась набухшая и бледная, словно вымоченная в вине, выщербленная с одной стороны луна. Внизу в долине переливающимся серебристым сиянием зажглись прятавшиеся в зелени черепичные крыши. В редких окнах жёлтым маслянистым пятном теплился поздний свет. Расплывчатые силуэты домов и деревьев, как тени, перерастали себя. Теперь они были уже не внизу, а поднимались вверх, увеличивались в размерах.

Караульный казак окликнул его с вышки. Он не ответил, припал к луке, каблуками ударил коня. Испуганный выстрел всполошённым эхом прометался в горах. На замощённой дороге чётче застучали копыта. Собачий лай одиноко оборвался где-то вблизи, через секунду перенёсся дальше, потом его подхватили сразу в нескольких местах. Остервенелым собачьим лаем встречал его город, когда скакал он по безлюдным, залитым лунной мутью улицам. У домика, где одно окно внутри мазалось жёлтым оплывающим светом, сдержал коня.

Лермонтов наклонился с седла, постучал в окно. Тень на стене двинулась, головой переползла на потолок. Человек в расстёгнутой сорочке, не выпуская из рук трубки, подошёл к окну.

— Константин Карлович, вы не спите? Один? Можно к вам поболтать на полчаса?

Данзас ответил приветливым и широким жестом, закивал головой.

Лермонтов соскочил с коня, привязал его у ворот. Гроыхнула щеколда калитки, он, сутулясь, прошёл во двор.

«Почему к нему? Что мне Данзас? Да и кому, кому на свете смогу излить душу? Даже ей, даже ей и то не смог, не сумел».

Из открытой двери жёлтой полосой падал на крыльцо свет. Данзас с свечой в руке посторонился, пропуская вперёд позднего гостя.

— Входите, входите, Лермонтов. Очень рад, что забрели. Да слушайте, откуда вы? Весь в пыли, и лица на вас нет.

— Из Кисловодской, — уронил, срывая дыхание. — Константин Карлович, подарите меня только вашим вниманием и...

— Чем ещё?

— Вашим мудрым советом.

— Как? Советом? Вы пришли ко мне за советом? Я вас не узнаю, Лермонтов.

Лермонтов взглядом, усталым и грустным, словно приковался к его лицу.

— Мне хотелось попросить вашего совета в одном важном, жизненно важном для меня деле, — начал он тихо и смолк. — Трудно начать, Константин Карлович. Я ведь как вскочил в седло в Кисловодске, так и не слез вплоть до самого вашего дома, замучился... А поговорить необходимо. Невозможность получить сейчас отставку мучит меня. Мне жить нечем, духовно жить решительно нечем.

— Нечем? А поэзия? Ваш талант?

Лермонтов горько ухмыльнулся.

— Литература? — презрительно проговорил он. — Наша литература так бедна, что я ничего не могу от неё заимствовать. В двадцать шесть лет ум не так быстро и легко принимает впечатления, как в детстве, а они мне нужны, необходимы. Где моё литературное бытие? В казармах, в предосудительных проделках переросших себя мальчишек. Я трачу фантазию, чтобы позлить какого-нибудь старикашку коменданта, чтобы позабавить двух-трёх изнывающих от скуки приятелей. А если бы моё бытие даже и было там, в так называемых литературных кругах, среди избранных знаменитых литераторов, — вы думаете, это спасло бы?

Опять он усмехнулся безнадёжно и горько.

— Может быть, было бы только противнее жить, вот и всё. Вон Гоголь, великий Гоголь, как его теперь уже пробуют называть друзья, нашёл, что в «Мцырях» недостаточная игра воображения. Он, видите ли, читал мою «Сказку для детей» и ждал от меня большего. Эта старая... Жуковский так исправил мою «Казначейшу», что мне хотелось изорвать книжку, где она была напечатана. Белинский наставлял меня, как нужно понимать Купера³⁹, и похваливал мои собственные писания. Представьте теперь, Константин Карлович, что было бы, если бы я целиком отдался им в опеку. «Героя нашего времени» никто не хотел читать, пока бабушка не догадалась послать Булгарину книжку, вложив в неё пять сотенных ассигнаций. Если бы она разслала таких книжек побольше, меня уморили бы похвалами. Вот, дорогой полковник, какова наша литература, вот как делают в ней теперь славу.

— Вы увлекаетесь: Булгарин ещё не вся литература, — осторожно вставил Данзас.

— Но без Булгарина она не может существовать. Это ещё того гаже. Я не могу, не хочу, Константин Карлович, быть русским литератором, — это унижительно.

— Тогда не пишите ни стихов, ни прозы, замкните поэтические уста и дразните сколько вашей душе угодно стариков комендантов, забавляйте приятелей...

— О, не смейтесь, Константин Карлович! — взволнованно перебил его Лермонтов. — Может, это даже не стоит вашей иронии — так жалко и презренно моё самолюбие, ничтожна гордость. Но что тут делать? Видно, такой уж уродился. А если бы не это самолюбие, если бы не оно — как бы замечательно, как бы по-невозможному хорошо было мне теперь! Увы, до самого последнего времени я даже не знал этого.

— Вам сказали об этом? — серьёзно и тихо спросил Данзас.

— Да, сказали... Но это неважно. Я отравлен, погублен этой проклятой моей гордыней. Да вот вам пример — слушайте, чего ещё больше...

Он вдруг остановился, посмотрел на Данзаса испытующе и недоверчиво. Возбуждение как будто улеглось, дальше он говорил ровно и спокойно.

— Это случилось в Тифлисе, когда я ещё служил в нижегородских драгунах, в первую мою ссылку. Я стоял возле бань с двумя моими приятелями татарами. Вдруг проходит грузинка. Я не вижу её лица, но по движениям, походке догадываюсь, что она сделала мне знак рукой. Мы все трое идём за нею, но в баню не входим, потому что была суббота.

³⁹ Купер Джеймс Фенимор (1789–1851) — американский романист, переводы сочинений которого появились в России с середины 1820-х гг. Ими увлекался Лермонтов.

Выходя, она опять мне делает знак, я следую за нею, но теперь уже один. И вот без вопросов, без просьб, без одного с моей стороны слова она мне просто говорит «да». Я приближаюсь к ней совсем, беру её за руку, тогда она говорит мне, чтобы я поклялся сделать всё, что она велит. Я обещался. Она приводит меня домой, показывает завёрнутый в какую-то ткань труп. «Надо его вынести, бросить в Куру», я решился, но на мосту мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. На всякий случай я всё-таки догадался снять с мёртвого кинжал как доказательство. Мои татары дознались у Геурга ⁴⁰, что он делал этот кинжал одному русскому офицеру. Мы разыскали денщика этого офицера, и он рассказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе, жившей с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю этот офицер пропал. Это утвердило меня в моём решении. Я не требовал выполнения условия, это меня оскорбляло, я просто пришёл к ней. О, Константин Карлович, уверяю вас, я в жизни не знал другой такой женщины. В ней кипел, — для всех или для меня только? — целый океан страсти. Тогда я решил — для всех. Дальше вы понимаете: прямо от неё я пошёл к коменданту, привёл с собою моих татар, представил кинжал, снятый с убитого. Вот она, моя проклятая гордыня. Ведь это могло быть и иначе?

— Вы это считаете гордостью? — презрительно проронил Данзас.

Лермонтов оживился. Глаза заблестали беспокойным, трепетным блеском.

— Вас это не убеждает? Вот вам другой, но такой же, совершенно такой же пример. Помните, месяц тому назад мы с вами встретили здесь у источника даму. Я подошёл к ней, помните? Это жена Бенкендорфова адъютанта, так, приятная женщина, разумеется, не слишком строга. С ней мой роман был в Кисловодске... Исключительно лишь с целью подразнить, запутать в моей интриге ещё одну даму, в которую я чуть-чуть был влюблён. Ну вот, я повторяю — это очень приятная и даже милая женщина, но я вспомнил, что слышал о ней когда-то в Петербурге. Вы понимаете, любовник у неё царь, муж — жандарм, меня гноят на Кавказе, — словом, судьба давала мне в руки хоть маленький случай отомстить. Но нет, это не было мезью. Мне не равняться с царём, но разделался я с ней по-царски. В неё был влюблён один плюгавый юнкеришка. Я наговорил ему кучу всякого романтического вздора, он поверил. Словом — роста он был такого же, как и я, шторы у меня в комнате были опущены, как нужно вести себя, я его научил. Кажется, он остался доволен.

Лермонтов смолк, пытливым взором уставился на Данзаса. У того на лице не дрогнул ни один мускул, прямо смотря в глаза, раздельно и твёрдо он сказал:

— Если бы всё это было правдой, вы знаете, я бы не терпел вас у себя в доме. Но ведь это всё ложь. Вы лжёте на себя. Зачем?

С минуту он смотрел на него с мягким и снисходительным укором. Потом сказал:

— Эх, Лермонтов, что сейчас-то свихнуло вас? Кто обидел?

— Не обидели, Константин Карлович, именно не обидели. Ах, если бы обидели, я знал бы что делать! Но нет, я не слышал даже ни одного слова, которое могло бы задеть, оскорбить моё самолюбие. «У меня было два великих любовника (так и сказала: великих), и этим последним я буду больше гордиться, чем гордилась до сих пор де Мюссе»⁴¹. Это она сказала при расставании, Константин Карлович.

— Кто она-то? Оммер де Гель?

— Да, — глухо ответил Лермонтов.

— И вы безумствуете из-за того, что она уехала или уезжает? Что, вы не знали до неё женщин? Что, это последняя благосклонность, которою вас подарили? У вас их будет ещё много, больше, чем нужно. Чем только прельстила вас эта вертлявая, чтобы не сказать больше, француженка?

— Это — единственная женщина, которой я мог бы быть предан, по-настоящему

⁴⁰ Знаменитый в 1830 — 1840-х годах тифлисский оружейник.

⁴¹ Мюссе Альфред де (1810–1857) — французский поэт и писатель-романтик.

предан, — отдельно и тихо выговорил Лермонтов.

Было в его взгляде, в лице что-то такое, что у Данзаса даже нервный живчик сбежал от угла глаз по щеке.

— Это опасно, Михаил Юрьевич, — тихо проговорил он. — Я достаточно хорошо отношусь к вам, чтобы не встревожиться. Поезжайте-ка, милый, обратно в отряд, поезжайте скорее, пока ещё в этом вам не препятствуют. Я боюсь, что здесь с вами может быть хуже.

Лермонтов, казалось, не слушал. Голова бессильно свисала на грудь, пальцы рассеянно теребили выпушку на панталонах.

— Скажите, Константин Карлович, — вдруг оторвался он от своей задумчивости, — что это значит, что это должно значить, когда женщина, душевно многоопытная, достаточно изведавшая любви и не утомившаяся ею, с тоскою и ненавистью отмахивается от своего прошлого?

— Что это значит? — повторил Данзас, удивляясь его ясному и грустному взору. — Думаю, что это бывает только тогда, когда любовь не только наслаждение, но и обязанность, служба.

— Обязанность? Но ведь у ней есть муж, она никогда не нуждалась! Она дама общества! Не профессионалка же, в самом деле, не актриса!

Данзас усмехнулся.

— Вы думаете, только ради хлеба насущного? Женщины могут служить своим полом многому. Кто знает, кому и в каких целях служила им ваша подруга.

— Многому, — тихо, как бы с самим собою, заговорил Лермонтов. — Многому. Кажется, вы мне даёте идею.

— Ну вот и слава Богу, значит, не зря из Кисловодска скакали. Но чего опять-то задумались? Э, бросьте, всё равно это прошло и нужно забыть!

Данзас встал из-за стола, прошёл к буфету, достал бутылку.

— Итак, значит, немедля в отряд? — спросил, разливая вино по рюмкам.

— Да, да, в отряд, — рассеянно, думая, очевидно, о другом, ответил Лермонтов и с грустною улыбкой потянулся чокнуться с Данзасом.

V

В тот же день Лермонтов отбыл из отряда в двухнедельный, разрешённый по «крайней надобности в домашнем устройстве» отпуск.

Трое суток трясла его и мотала почтовая тележка. Он так щедро давал на водку, понуждая к быстрой езде ямщиков, как будто получил ссуду не в сто, а в тысячу рублей.

На четвёртые сутки где-то внизу, много ниже дороги, открылась тёмно-зелёная, взрытая волнами поверхность моря. Небо над нею было таким голубым, что казалось — оно хочет впитаться в глаза. Не покидавшие со дня отъезда весёлость и возбуждение сменились мутным и тревожным беспокойством. На последней версте он всё ещё погонял ямщика.

Покачиваясь, чертили небо голыми мачтами стоявшие в гавани суда. На берегу, в сомнительной тени развешанных на кольях рыболовных снастей, сидели и лежали оборванные загорелые люди. Прибой шумел глухо и деловито. На дальних волнах завивались белые гребешки.

Валявшиеся на берегу оборванцы указали Лермонтову низкого, непрерывно шмыгавшего носом армянина. Тот жёсткими и быстрыми глазами в одно мгновенье словно раздел его. Воскликнул так, как будто ему самому не было большего удовольствия:

— Ва, это можно!

Потом долго думал, шевелил губами, что-то прикидывая и соображая про себя.

— Сто рублей. Как хочешь, меньше нэлзя, — выпалил он наконец и засверлил глазами.

— Сто рублей!.. Да ты знаешь!.. Да ты у меня!..

Дальше это оборвалось неистовой непристойной бранью.

Армянин только повёл плечами и сумрачно поглядел в глаза.

— Зачем карантин? С карантина, — он в родительном падеже ставил ударение на последнем слого, — с карантина и так все лодки смотрят. Зачем не ездешь с казённым, если так кричишь?

— Бзз дэнэг ничэго нэ сдэлаешь. Опасно возить, с карантина все лодки смотреть будут.

Может быть, он ударил бы его — душило бешенство, судорогой сводило руку, — но в этот момент солидный, с лентой голос отвлёк его внимание.

Они разговаривали тут же на берегу, где сушились сети и валялись на песке загорелые оборванцы. Некоторые из них теперь лениво и без особого любопытства прислушивались к их перебранке. Один — Лермонтову приметилась крутая седина в потных, прилипших ко лбу кудрях и жёсткие, по-солдатски стриженные усы и баки — приподнялся с земли.

— Петрович! В чём тут у вас дело? — окликнул он армянина. — Ехать, что ли, офицеру нужно, а ты в цене упёрся?

Он оглядел Лермонтова, и Лермонтов оглядел его. Глаза, тяжёлые и чёрные, смотрели умно и насмешливо, в колючих жёстких усах застряла улыбка неоспоримого превосходства.

— Вы, сударь, ехать желаете? — обратился он к Лермонтову, чуть дотрагиваясь рукой до фуражки. — На Петровича вы обижаться не извольте: каждому заработать хочется. А вы, как я примечаю, барин горячий, ну, я и подошёл, а то, думаю, никогда они так не столкнутся. Вы вот что, сударь, — всё не отводя насмешливого взгляда, весьма учтиво продолжил он, — дайте Петровичу-то какой ни на есть билет, ну хоть бы пятёрку, — с него хватит. А я сам сегодня в крымские порта ухожу. Судно у меня хорошее, мы с вами столкнемся.

Ничего в его лице не изменилось за эти пять минут: и улыбка всё та же, ироническая и неповоротливая, шевелила усы, и глаза, насмешливые и испытующие, смотрели не отрываясь, но было в его голосе такое спокойствие, в словах такая деловитая серьёзность и скупость, весь облик его дышал таким сознанием собственного достоинства и превосходства, что Лермонтов усомнился только на одно мгновение.

— А ты-то сколько возмёшь за проезд?

— Того, что заплатить не можете, просить не стану, уж мне-то вы поверьте.

И усмехнулся опять. Но сейчас же лицо сделалось серьёзным, он обстоятельно и толково стал объяснять, как и когда удобнее всего перебраться к нему на «дубок», что нужно сделать, чтобы не заметил таможенный досмотр, — словом, всё, что должен был знать и к чему следовало подготовиться его добровольному пассажиру.

Теперь пришла очередь Лермонтову испытующе посмотреть на него.

— Как же ты это так берёшь с собою?! А может, у меня и вовсе ничего нет? Заработать не заработаешь, а себя опасности подвергнешь.

— Себе убытка не сделаю-с, будьте покойны, — не спеша проговорил тот, — А не помочь человеку тоже, как хотите, нельзя. Вижу-с, что ехать вы нужду большую имеете. Ну-с пока что, сударь, до свидания, — вдруг неожиданно прервал он себя. — У меня тут ещё дела кой-какие остались, а вы к вечеру, как только солнышко садиться начнёт, сюда же приходите. Кажись, погоды быть не должно — сегодня ж выйдем.

И он, коснувшись рукой фуражки, не спеша и вразвалку отошёл на прежнее место. Лермонтов только сейчас мог рассмотреть его. Был он высок и плотен, на вид ему не могло быть больше пятидесяти, на обветренной загорелой шее надувались толстые желваки мышц, и руки и плечи говорили о силе необычной и не для такого возраста. Он шёл походкой такой же уверенной и спокойной, как и слова, как будто и ею он презирал кого-то. Но странно — эта походка совсем не походила на раскачивающуюся грузную походку старого моряка. Было в ней что-то едва уловимое, уже стирающееся, почти исчезнувшее, но прямое, широкое и лёгкое. Такой шаг, как болезнь, на всю жизнь прививают гвардейская муштра и парады, в этом шаге не участвуют, живут от него отдельно и спина, и плечи, и грудь, и шея. Не участвовали они и у этого странного владельца рыбачьего «дуба».

«Странно, очень странно, — подумал Лермонтов, смотря ему вслед. — А не утопит, не ограбит?» — мелькнуло тут же тревожное и подозрительное.

Но солнце светило весело, дыхание уже привыкло к тяжёлой влажности, человек, неожиданно предложивший свои услуги, самым своим появлением как бы отстранил неприятность досады и разочарования. Лермонтов ухмыльнулся беззаботно и весело.

«Ехать, ехать, только бы ехать. Не надо ни о чём думать, только бы ехать».

Когда наконец солнце стало бесконечно медленно падать к воде и сразу прохладною сменился зной, он уже был на условленном месте.

Ждать пришлось долго. И солнце уже краем окунулось в море, и с берега уже начинали сползать хмурые и холодные тени, а хозяина «дуба» всё ещё не было. Появился он, как это всегда бывает, когда ждёшь слишком нетерпеливо, совсем не оттуда, откуда ждал его Лермонтов. Пришёл усталый и хмурый.

— Ну, часа через два либо три будем отходить. Можно теперь и на «дуб» перебираться. Вещи у вас какие есть?

— Один чемодан да бурка.

— Чай, на станции оставили? Так я вам мальчика дам: он принесёт.

Мальчик, необычайно угрюмый и неразговорчивый, притащил чемодан и бурку, свалил их в вытянутую носом на песок лодку, сказал кратко:

— Садитесь.

И голый пяткой ловко столкнул лодку с песка. Потом так же ловко и проворно он прыгнул в неё сам, стоя заработал веслом, крутя его, как винт, на корме.

«Дуб» оказался невзрачным, глубоко, чуть ли не по самые борта, сидевшим в воде судёнышком. На голых мачтах висели подвязанные грязные свёртки парусов. От самого носа до половины «дуб» положительно был завален крупными тёмно-зелёными арбузами, его сильно качало, и арбузы кряхтели страдающе и тихо. Лермонтов перепрыгнул через борт, балансируя и останавливаясь каждую минуту, чтобы не упасть, прошёл вслед за хозяином на корму. Здесь, откидывая шаткую дверцу какой-то будки, тот сказал:

— Извините, сударь, почище места у нас не найдётся. Конечно, потом, как будем в море, можно будет выйти на палубу, а пока лучше вам всё же здесь посидеть, чтоб греха какого напрасно не вышло. Досматривать нас уже больше не будут, а всё ж так-то спокойнее.

В неприглядной и тесной рубке сидели ещё двое. Оба недоверчиво покосились на Лермонтова, переглянулись, — очевидно, они только что говорили, — и потом уже не произнесли при нём ни слова.

— Вот здесь, сударь, вам будет удобнее, — говорил хозяин, устраивая в углу лермонтовский чемодан.

— Спасибо, и так хорошо, только б доехать. Как звать-то тебя, хозяин, прикажешь, я и не спросил?

— Люди зовут Михаилом Ивановичем. Ну вам, может, так и неудобно покажется, — зовите Михайлой.

Он услужливо постелил на чемодан бурку, огляделся кругом с таким видом, как будто хотел сказать: «Ну, лучше тут ничего не придумаешь», — и занёс уже было за порог ногу, но Лермонтов его окликнул:

— Ты скажи, Михаил Иванович, когда выйти можно, а то, здесь сидя, задохнёшься.

— Будьте покойны, лишней минутки не продержу-с.

В рубке было жарко и душно. Стоял тяжёлый запах непроветренного человеческого жилья. От качки или от этого запаха начинало мутить. Двое других пассажиров сидели как набрав в рот воды. Иногда в тишине раздавались слабые, похожие на стоны вздохи. Видимо, одному из пассажиров было совсем плохо. Отплытие почувствовалось по лязганью, крикам и шуму на палубе, по отрывистому рывку всего судна, по качке, сразу же ставшей и глубже и плавнее.

«Вытягивают лодкой? Или нет, сразу поставили парус», — подумал Лермонтов.

От качки или от радостного волнения сердце подхватило, как на качелях. Всё ещё плохо верилось, что плывут, что он уплывёт туда, к чему-то такому заманчивому и чудесному, что даже для себя он не смог бы определить.

Казалось, сейчас могло бы быть так же беззаботно и весело, как не бывало даже в детстве, — вот только эта проклятая качка: она пугала странным, тянущим и вязким ощущением. Ему хотелось засмеяться: так это было забавно. Едет он без денег, даже без своего человека, один, крадучись, как преступник, запрятанный в эту вонючую рубку. Расслабляющая дурнота, которую чувствовал во рту, в голове, в теле, превозмогла смех. Он не помнил, долго ли он пробыл в своём заточении. Только когда в рубку вошёл хозяин, когда ворвавшийся в распахнутую дверь свежий морской ветер коснулся лица, он смог поднять глаза, спросить усталым, разбитым голосом:

— Ну что, за мной, что ли, пришёл?

— Так точно, за вами. Да уж не плохо ли вам, сударь? Всего и идём-то — часа не будет. Это от воздуха: душно здесь и запах скверный. Вы выйдите на палубу, там сразу легче станет.

На двух других пассажиров он даже и не посмотрел. Поддерживаемый под руку, вылез Лермонтов из рубки.

За бортом буравились чёрные волны. На самом горизонте из-под полога низко свисавшей тучи выглядывал краешек луны. Тёмная мутно-красная кровь, дымясь, растекалась от него по воде.

— Вы, сударь, здесь присядьте и за борт не смотрите, — мягко выговорил Михаил Иванович.

Лермонтов взглянул на него и даже отшатнулся. Чёрные тяжёлые глаза были полны сейчас такой тоской, так жалко и скорбно молила об участии трудная улыбка, что ему стало страшно.

«Так вот почему он так ласково со мной», — пронеслось в голове нерадующим, тяжёлым открытием.

Михаил Иванович всё ещё медлил от него отойти.

— Вы, сударь, моё любопытство мне извините, — заговорил вдруг он. — Я так ещё давеча заприметил. Не должно быть, думаю, что этот офицер только кавказский. Не иначе как с гвардии сюда прибыли.

— Из гвардии. А что? — ответил Лермонтов, с трудом ворочая языком.

— Так, так. Сразу это видно, ничем не скроешь.

Он оглянулся по сторонам, как будто страшился, чтоб его не подслушали, тоном словно виноватым продолжал:

— Любопытно было бы узнать мне, может, кого из моих старых офицеров знаете. Вы-то, осмелюсь спросить, сами на Кавказе недавно?

Как выпавший из кучи арбуз, который теперь метался с борта на борт, возникла в голове мысль. Поднять её не было силы.

«Штрафной, вероятно, здесь муку дослуживал. О чём же тоскует? Неужели мало шкуру драли?»

Сияясь улыбнуться, Лермонтов всё же спросил. Слабость и непрекращавшееся чувство тошноты стёрли с голоса оттенок насмешки:

— С чего тебе-то офицеры интересны?

Ответ последовал немедленно, вместе с тяжёлым глухим вздохом:

— Каждый человек, сударь, должен свой дом иметь и к нему привязанность. А у солдата какой же дом может быть, кроме службы! Конечно, как вы старых Преображенских солдат знать не можете, то я про офицеров спрашиваю. А узнать всё равно любопытно.

Лермонтов назвал несколько фамилий. Некоторых из них его собеседник знал, откликнулся на них немедленной репликой:

— Как же, отличнейший барин и офицер храбрый, — помню, помню.

Или:

— Этот так себе был: хорошего не скажу.

Лермонтов назвал и Самсонова. У его собеседника словно потемнел голос.

— Самсонова Евгения Петровича ещё подпрапорщиком помню, как их из школы

дяденька ихний, Николай Александрович Исленьев, в польскую кампанию брали. У жандармского генерала теперь адъютантом, говорите? Этот своего добьётся. Души в нём нет — одно самолюбие. Вот в чём причина.

Михаил Иванович опять вздохнул.

Луна теперь переползла свисавшую на горизонте облачную завесу, холодными серебристыми бликами испещрила на палубе тень. В её мутном молочном сиянии лицо Михаила Ивановича казалось и страдающим и страшным. Той же неуёмной тоской горели глаза.

С кормы, перепрыгивая через валявшиеся снасти и мешки, к ним подошёл босоногий рослый матрос.

— Михаил Иванович, что с этими-то, с англичанами, делать? Всю рубку как есть заблевали: оба лёжком лежат. Ты б их хоть на палубу вытащил.

При лунном свете улыбка делала лицо Михаила Ивановича суровым и жёстким.

— Это не причина, — насмешливо проговорил он. — А если они на палубе за борт свалятся, кто за них нам с тобой деньги платить будет? Ты это, дурья голова, подумал?

Парень отошёл.

Михаил Иванович, совсем близко склонясь к Лермонтову, глухим срывающимся шёпотом спросил:

— Вот вы сказали: поручика Самсонова, капитан он, что ль, теперь, знаете. А вы про такую: Дарью Антоновну Красавину — не слыхали? В полюбовницах он, сказывают, её держит.

И остановился, словно задохнувшись.

Эта, вот эта волна, шлёпнувшая, как пощёчиной, судёнышко, смыла с тела слабость. Сердце сжималось тревожной, ноющей болью, и в висках, в голове застучала медленная тяжёлая кровь. Как в испуге, Лермонтов привстал со своего места.

— Нет, не знаю, — ответил отрывисто и резко.

И сейчас же, мучаясь и не в силах подавить в себе тревоги, спросил:

— Кто рассказывал-то тебе про Самсонова?

— Тут один исленьевский бывший дворовый в Азове как-то попался. Сбежал, должно быть, — устало и как бы с неохотой ответил Михаил Иванович.

— Давно?

— В прошлом году как будто.

Лермонтов облегчённо откинулся на скамейку.

— Что, сударь, совсем вам нехорошо-с? — участливо и с тревогой спросил Михаил Иванович. — Вы вот лягте, совсем вытянитесь и в небо смотрите, как будто там что увидели. Так оно и пройдёт. А здесь посередке самое лучшее место: меньше всего качает. Погодите, вот я вам вашу бурку принесу постелить.

Он торопливо отошёл от Лермонтова. Чуть пробелённое тонкою лунною мутью небо над головой, казалось, истекало чёрной неиссякаемой влагой. Падавший с парусов на лицо ветер исцелял от немощи.

«И опять и всегда жизнь отравит мне самое лучшее мгновение. Ах, если б не эта мука», — тоскливо отозвалось в душе.

Он думал о качке, даже себе не решался признаться в том, что радость и детскую беспечность в сердце убила вовсе не качка.

Красный укреплённый на мачте фонарь прыгал в чёрном небе, как мяч. Он и в сон отскочил упругим проворным мячом.

Проснулся Лермонтов от утреннего застылого холода. О вчерашнем дурнотном состоянии напоминали только головная боль и слабость во всём теле. За бортом море было гладко, как вода в пруду. Голубое до блеска небо застыло над головой, но паруса всё же тяжело выпирались грудью. В утренней сплошной тишине отчётливо слышался каждый звук: скрип снастей, осторожный плеск рассекаемой носом воды. Заглушённым, словно натруженным голосом Михаил Иванович говорил кому-то:

— ...Вот, парень, я тебе что скажу. В рудниках со мной один кавказец работал. Конечно, ни зимы, ни работы тамошней здешнему человеку не снести, так и свял бедняга. А как совсем отходить начал, вдруг как забьётся, затрепещет, как птица подстреленная, и глазами и руками всё молит чего-то: дайте, мол, дайте мне. А чего — никто понять не может. Насилу я разобрался: винограду, виноградинку, понимаешь, одну он просил. Это чтоб родину хоть по чём-нибудь было вспомнить. Родина-то, брат, может, это вовсе и не страна или земля какая, а, скажем, семейство, обычай, которым жизнь ведётся, или другое что. А у меня вот родины этой, как хочешь, нет — какая же у солдата, да ещё у каторжного, может быть родина? А тоска, парень, тоска мне всю душу выела. Я через эту тоску и из Сибири вон куда убежать не побоялся. В жизни я только крепок, сам знаешь, — а отчего? Помирать, брат, боюсь, боюсь — перед смертью, как тому кавказцу, просить будет нечего...

Он смолк. Лермонтов напряжённо, весь обратившись в слух, ловил каждое его слово. Что-то неловкое, унижительное и страшное закрадывалось в душу. Казалось, вот-вот Михаил Иванович начнёт говорить о нём, унизит, оскорбит несмылаемо. С минуту на палубе царило молчание. Потом тот же натруженный, заглушённый голос заговорил снова:

— Насчёт этого тоже — пустое. Я, брат, это ещё вон когда понимал. Четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года, когда в Петербурге на Сенатской площади гвардейские полки бунтовали, вон когда. Преображенский полк тогда усмирять их выслали. Так у меня и рука не дрогнула по своим стрелять, как команду подали. Потому дураков жалеть нечего. А раз ты, баран, поверил, даже в мыслях допустил, что они о твоём добре будут стараться, — то дурак ты и есть, и больше ничего.

Голос у него звучал уже по-другому, старчески ворчливо и скрипуче.

— Да-с. Вот хоть и это. К чему эти англичане здесь? Добро или зло какое придумывают? Нам с тобой никакого дела нет. Нам деньги получить, коль мы их в порядке доставим и от начальства укрыть сумеем, а что они там подстраивают: за царя ли, против ли царя — это наплевать. Нам с тобой всё равно от того лучше не будет.

Лермонтов закрыл глаза, притворился спящим, когда Михаил Иванович, крикнув, сказал:

— Пойду посмотреть, не проснулись ли.

Противное чувство неловкости и смущённого стыда, как будто он отнял у нищего рубашку, не оставляло его.

«Это Дарья, Дашенька, нигоринская Долли — потерянная родина», — стыдной, унижающей мыслью не выходило из головы.

К полдню всё беспорядочней и чаще стали кружить над «дубом» чайки, на волне иногда густо болталась щепка, плыл мусор.

Михаил Иванович, гася насмешливый блеск в глазах, подошёл к нему.

— Ну-с, сударь, подходим.

VI

За Ялтой характер местности резко менялся. Оборвалось массивное, высеченное в скалах шоссе, попадавшиеся порой по пути искусно разбитые парки сменились диким дубовым и буковым лесом. Изредка лес прерывался скошенными полосами виноградника. Ехали дорогой, которая только по инженерному положению называется «мягкой». На самом деле она была так камениста и тверда, что конские копыта цокали по ней, как по мостовой, и колёса за столетия не смогли намять колеи. Внизу от них замелькал между деревьев свет. На вырубленной и расчищенной среди леса просторной поляне тщились расти саженцы веллингтонии, субтропических лиственниц и елей.

— А это что? — повёртываясь в седле, спросил Лермонтов.

Мадам де Гелль не рассталась с мечтательной улыбкой.

— Тоже имение графа Воронцова. Массандра.

Лермонтов засмеялся.

— Здесь, что ни спросишь, всё Воронцов да Воронцов. Совсем как у Жуковского в «Канитферштане».

— Но ведь вы не так мрачно настроены сегодня, чтобы желать встречи с гробом? — быстро отозвалась она. — И потом, по-моему, графу Воронцову совсем нельзя желать смерти. Он так много сделал для процветания и украшения этого дивного края.

Лермонтов внимательно посмотрел на неё.

— Гроб я предпочёл бы встретить вон с той красавицей, — он подбородком указал на ехавшую впереди них кавалькаду. — Всё равно вы тогда бы мне ответили, что это принадлежит или принадлежало тому же Воронцову.

— Фи! Как вам не стыдно! Ведь это же грешно — желать смерти такой хорошенькой женщине.

Она хлыстом ударила лошадь, послала её на рысь.

— Нам нельзя отставать. Смотрите, где остальные.

Лермонтов засмеялся, но тотчас же и сам толкнул своего коня. Опять они ехали рядом.

— Вас волнуют ревнивые взгляды вашего Отелло, — проговорил он с усмешкой. — Или, может, вы уже заскучали по тому влюблённому Фальстафу?

У неё лицо приняло строгое и разгневанное выражение.

— Господин де Гелль имеет ко мне невозмутимое доверие. А что касается другого... о, Лермонтов, вы, очевидно, ещё плохо разбираетесь в людях, если Тет-Бу кажется вам Фальстафом.

Частый и дробный стук копыт словно цеплялся за ветки, шуршал в листве.

— Потом, я уже сказала, — говорила Жанна, задыхаясь от быстрой езды, — мне надоело, понимаете, надоело злословие...

Из-за поворота дороги показалась уехавшая от них вперёд кавалькада. Две дамы в амазонках ехали шагом, около них, неловко болтаясь в седле, трусил рысцей господин в синем фраке, расшитом золотыми позументами, и в странной треугольной шляпе. Муж госпожи де Гелль сидел на лошади исправно.

Пока они не поравнялись с ними, ни Лермонтов, ни Жанна не обменялись ни словом.

Господин в светло-синем фраке встретил их довольно неуклюжим каламбуром. Вблизи и верхом он выглядел решительно смешным. Шляпа его была фасона, который был распространён в английском флоте лет тридцать назад; волосы у него были длинные, по самые плечи; нанковые ⁴², заправленные в высокие жёлтые ботфорты, панталоны совсем не соответствовали сезону; под фраком был надет белый жилет, и одно плечо было украшено золотым эполетом-жгутом. Он не только костюмом, но и наружностью ужасно напоминал Людовика XVIII, каким его изображали на портретах, распространявшихся в эпоху Реставрации.

— Даже удовольствия, которые может доставить самое изысканное общество, нельзя променять на наслаждение, которое даёт один человек. Не правда ли? — сказал он, многозначительно взглянув на Жанну.

— Да, если этот человек умеет более остроумно высказывать свои огорчения, — быстро ответила она и броском послала вперёд свою лошадь.

Лермонтов остался в хвосте кавалькады.

— Я предпочёл бы, чтобы вы немножко более считались с моими чувствами и с вашим положением, — вполголоса заметил ей де Гелль, когда они поравнялись.

— Второе замечание. Благодарю, — сквозь зубы процедила она. — Не слишком ли вы вошли в свою роль мужа, господин де Гелль?

Она окинула его презрительным и холодным взглядом и, сгоняя с лица улыбкой гримасу, приветливо обратилась к дамам:

⁴² Нанка — сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. (По имени города Нанкина в Китае.)

— Вы не утомлены?

— О, нисколько. А вы?

— Месье Лермонтов такой превосходный кавалерист, что, когда едешь с ним, можешь быть уверенной — силы твои и твоего коня будут сохранены вполне.

Она с едва заметной усмешкой бросила взгляд в сторону смешного господина во фраке. Дамы переглянулись с улыбкой.

— Может быть, мы поспешим? Как будто в воздухе пахнет дождём, — осторожно заметил де Гелль.

Господин в синем фраке сперва с глубокомысленным видом рассматривал небо, потом тоном, не допускающим никаких возражений, заявил:

— Дождя сегодня не будет.

Мадам де Гелль рассмеялась.

— Господин Тет-Бу — моряк, но он избегает быстрой езды, господин де Гелль — недурной ездок, но он ничего не смыслит в погоде. Кого же нам, господа, слушать? Бедный Тет-Бу! — она послала ему улыбку. — А мне ужасно хочется скакать и скакать. Придётся вам вынести ещё одну неприятность.

Она с места на галоп подняла своего коня. Увлекаемые ею, помчались и остальные. Лермонтов с нахмуренным, недовольным лицом замыкал кортеж.

Через полтора часа в Гурзуфе они делали привал.

Слева в жёлтом выгорающем зное стыла серая невысокая горная цепь. Справа на гладкое, как зеркало, море две скалы, как два огромных, не нашедших своей глубины камня, стлали зелёную тень. Тень дотягивалась до берега, в том месте, казалось, должна была быть прохлада.

Лермонтов спешился последним, с выжидающим и мрачным видом, держа в поводу лошадь, стоял поодаль от остальных.

— Послушайте, так нельзя. Ваш вид отнимает у меня спокойствие и лишает хорошего настроения. Ну, маленький, в чём же дело? Ведь всё хорошо.

Мадам де Гелль подошла к нему. Может быть, только четыре пары ревниво и пристально наблюдавших за нею глаз помешали ей взять его руку. Он увидел глаза. Солнце нагрело и их; в холодном сером сиянии купался золотистый распалённый зной. Он улыбался совсем по-детски, радостно и умилённо.

— Конечно, всё хорошо. Но, но... — Он так и не окончил фразы.

Она нетерпеливо, теребя за рукав, тащила его за собой.

— Ну, идёте же к ним. Видите — они уже пьют вино.

В тени фруктового сада на земле расстелили скатерть.

Рыжебородый татарин тащил гору фруктов на огромном подносе. Вино принесли в медных, с длинными узкими горлами, кувшинах.

Тет-Бу, подставляя свой стакан под кувшин, с видом глубокого знатока говорил:

— Постройка крепости, развалины которой вы видите вон в том направлении, относится ко второму веку. При Юстиниане она называлась Гурзувиты.

— А кто теперь владеет этим Гурзуфом? — с нарочитой серьёзностью спросил Лермонтов.

— Теперь это имение графа Воронцова.

— Опять Воронцова, — звонко расхохотался Лермонтов. — Графиня, вы меня извините, но я за сегодняшний день на десятый, по крайней мере, вопрос получаю такой ответ. О чём бы я ни спросил — мне отвечают: это Воронцова.

— Вы, очевидно, далеко не всем интересовались, — картавя и с улыбкой проговорила графиня. — Здесь есть много весьма замечательного, ничем не связанного с имением Воронцова. Хотя бы, например, вот это, — она осторожно указала рукой влево, где за зубчатой стеной кипарисов белел просторный помещичий дом. — Вот дом, где гостил у Раевских Пушкин. Вам, как литератору, это следовало бы знать.

— О, Пушкин, — с живостью воскликнула мадам де Гелль. — Господа, в каком

чудесном мы находимся месте! Ведь здесь было написано: «Волшебный край, очей отрада...» Вот об этих самых долинах. Потом, если я не ошибаюсь, здесь же писано «Редет облаков летучая гряда...». Ну, Лермонтов, вы поэт, помогите мне вспомнить, что ещё написал Пушкин в Гурзуфе.

— Сейчас я не думаю о Пушкине, — просто сказал Лермонтов и ясным и открытым взором посмотрел на неё.

Наступило молчание, как будто всем стало немножко неловко от этого поэтического экскурса.

— Но, кажется, мой муж был прав: дождь действительно будет, — поспешила дать тему мадам де Гелль.

— Дождь будет очень скоро, — мрачно выговорил Лермонтов и опять посмотрел ей в глаза. — Следует торопиться.

Он встал и направился к тому месту, где стояли лошади. Жанна вслед за ним тоже поднялась с земли.

— Господа, я здесь самая маленькая женщина, — комически торжественно заявила она. — Если нас здесь застанет дождь, боюсь, что я упаду под тяжестью моей собственной амазонки.

Сидящие переглянулись, прилежно проследили, как Лермонтов помог ей подняться в седло.

Через четверть часа отчаянной скачки Жанна сдержала свою лошадь, изгибаясь в седле, пыталась поймать взгляд Лермонтова. Дышала она тяжело.

— Вы знаете, Лермонтов, — заговорила она после минутного молчания. — Тет-Бу совершенно вас не переносит. Право, вам не следует его раздражать понапрасну. Вчера он был готов даже стреляться с вами, во всяком случае, немедля хотел сняться с якоря, чтобы плыть вслед за нами, когда я сказала, что вы не прочь и в Анапу, только вместе со мною.

— А зачем он вообще-то собирается на Кавказ? — равнодушно спросил Лермонтов.

— Не знаю. Кажется, он везёт ружья и пушки немирным черкесам. А потом, у него там ещё какие-то дела, о которых я даже и не догадываюсь.

— А, — безразлично откликнулся Лермонтов.

— Вам это неинтересно?

— Нет, — ответил он кратко.

У него глаза сделались страшными и потемнели. От этого взгляда трепетная волнующая дрожь пробежала по телу Жанны. У ней стеснило дыхание, когда она заметила, как нервно и твёрдо укорачивала повод его рука. Вдали послышалось грохотание колёс, звяканье подков, голоса. Рука Лермонтова разом ослабила повод.

— Быстрее, быстрее. Смотрите, уже накрапывает, — задыхаясь, выкрикнул он и всем телом подался вперёд на седле.

Открытую часть дороги они успели проскакать до дождя. В лесу капли с шумом падали на густую листву. Роща наполнялась встревоженным, неумолкающим шёпотом.

— Это, кажется, и есть Кучук-Ламбат, — крикнула Жанна.

— Не знаю, — со странным смехом откликнулся он.

В стороне от дороги за деревьями мелькнуло белое строение. Тропинка к нему заросла травой.

— Беседка. Там мы укроемся, — срывая в сторону коня, возбуждённо прокричал Лермонтов.

Беседка была заброшенной и забытой. Травой поросли даже ступеньки. Лермонтов, бросив лошадь, проворно взбежал по ним.

— Скорее, скорее, Иначе ваша амазонка намокнет и вы упадёте под её тяжестью.

Он рванул дверь. Слабый замок вместе с винтами выскочил из своего гнезда.

Крытый зелёным сукном стол внутри беседки заставил его расхохотаться.

— Очень мило со стороны генерала Бороздина, что он строит бильярдные в таком приличном отдалении от дома.

Жанна едва улыбнулась.

Дождь словно вымыл опаляющий зной из серых внимательных глаз. Сейчас они смотрели выжидающе и спокойно.

— Жанна!

Она не откликнулась. В изнеможении, словно дальше уже не было сил держаться на ногах, опёрлась она на бильярд, с усталым вздохом уронила на руки голову. Ему показалось, что она плачет. Вид её затылка, кусочка открывшейся из воротника беломраморной шеи действовал сильнее угасшего в глазах огня.

Воротник на амазонке отстегнуть было невозможно, он оторвал зубами застёжку. Вкус кожи на губах был солёным и горьковатым. Потом и ещё: как в сердце, ощутилась тяжесть её шлейфа в руке. Она медленно обернулась назад, в скошенном, мгновенно исчезнувшем из глаз взгляде не было ни испуга, ни волнения.

Ещё какие-то мгновения развёртывала память. В неё был плотно упрятан жаркий день возле Пятигорского источника, холодное сияние налившегося светом предрассветного неба...

Измятый подол её амазонки, завернувшись, открывал бельё.

Вид последнего был так обыкновенен, что ему стало противно. Только усилием воли заставил себя остаться, не выбежать тотчас же из павильона.

В лесу в звуки дождя уже вплетался стук экипажей и чавканье копыт. Он вдруг закричал совершенно неистово:

— Они нас захватят! Ай, ай, ваш муж!

И, на виду у подъезжавших уже спутников, стремительно выпрыгнул в окно, вскочил в седло и помчался из леса.

Жанна стояла окаменев. Тет-Бу, промокший насквозь и встревоженный, первый кинулся к ней с вопросом:

— Что случилось? Что это значит?

Она довольно неуверенно проговорила:

— Не знаю... Я не понимаю... Кажется, это шутка.

VII

На ялтинском рейде на расстоянии, достаточно приличном от берега, так как на стоянку в этой совершенно открытой бухте могли отваживаться только очень лёгкие суда, уже четвёртые сутки выстаивала стройная трёхмачтовая яхта. Все её паруса были убраны и подвязаны с аккуратностью, граничившей с кокетством и встречающейся лишь на судах военных флотов да разве ещё у очень богатых и значительных лиц, влюблённых в морские путешествия. Яхта буквально горела на солнце: её ростры были богато покрыты позолотой, белая с широкой красной полосой по бортам окраска отражала количество лучей, вероятно, не меньшее; палуба, даже палуба со всеми на ней строениями обладала необычайной способностью сверкать и гореть, как будто всё там было вызолочено. Ясно, что эта яхта была легка на ходу, ясно, что команда её была отлично подобрана и выдрессирована. На любой бы другой стоянке такая яхта, несомненно, привлекла бы к себе самое неумеренное любопытство жителей, но в таком малолюдном и захудалом местечке, каким была Ялта, её пребывание не делало никакого события. Яхтой мало кто любовался, ещё меньше кто был заинтригован её национальностью и назначением. Но в этот час берег был совершенно пустынен, кругом не было ни души, и, вероятно, этим же нужно объяснить и то, что суэта и движение на палубе яхты, необычные в столь ранний час, не привлекали ничьего внимания.

Господин де Гелль выскочил из коляски с той растерянной поспешностью, которая изобличает в человеке нервное беспокойство и волнение. Сложив руки рупором, он стал кричать. «На „Юлии“! На яхте!» Но, очевидно, его голос был слишком слаб, чтобы его могли там слышать. Кучер стал помогать ему неистовым «ого-го», но всё равно с яхты не откликались. В конце концов их крики растревожили на береговой сигнальной вышке

матроса. С его помощью, флагом и криками, они добились наконец, что их заметили. Там тоже помахали флагом, и через десять минут лёгкий четырёхвесельный вельбот доставил господина де Гелля к борту «Юлии».

На палубе кипела работа. Матросы, как кошки, лазали по вантам и мачтам, укрепляя и натягивая такелаж. Ворчливо скрипел испытываемый кабестан.

— В чём дело, любезный Джьякомо? — не скрывая своего удивления, спросил де Гелль у стройного и загорелого юноши, распорядившегося работами.

— Через час мы снимаемся с якоря.

— Вы получили такое распоряжение?

Джьякомо только пожал плечами.

Господин де Гелль с возрастающим беспокойством спустился вниз.

За дверью каюты Тет-Бу была тишина. Де Гелль осторожно приоткрыл её. Хозяин каюты спал одетый, широко разметавшись на низком кожаном диване. Де Гелль быстрым взглядом обошёл каюту. На круглом столике стояла открытая бутылка коньяку, в недопитой чашке остался чёрный кофе, на самом Тет-Бу халат был надет поверх его обычного платья, и ноги были в сапогах.

«Не спал всю ночь», — быстро сообразил де Гелль, связывая все эти вещи с бледным, нездоровым лицом спящего.

Тот вдруг заворочался во сне, привскочил на диване, сел, схватился руками за голову.

— Жанна. Вы здесь? Я ждал вчера, — разобрал де Гелль его спотыкающееся бормотанье и тут же подумал, поморщившись:

«Однако это не так уж легко — быть чересчур любезным мужем».

Тет-Бу вдруг открыл глаза.

— А, мой милый де Гелль, чему я обязан столь рано? — выговорил он, запинаясь.

В голосе как будто слышалась досада. Лицо де Гелля мгновенно приняло непринуждённо-шутливое выражение.

— Притворяйтесь, притворяйтесь, я вам это очень советую. Ваши матросы уже возятся около кабестана и готовятся поднять якорь. Что вы на это скажете?

— Это невозможно, — воскликнул Тет-Бу.

— Но это так.

Тогда Тет-Бу вскочил с дивана, бросился к дверям, требуя, чтобы к нему немедленно прислали капитана судна. Вошёл Джьякомо.

— Объясните мне, пожалуйста, что там происходит у вас на палубе, — строго обратился к нему Тет-Бу.

Джьякомо с тем же невозмутимым видом и так же просто, как и на палубе, объяснил:

— Мы снимаемся с якоря, капитан.

— Вы снимаетесь с якоря! Но кто вам дал такое приказание, господин капитан?

— Вы день ото дня откладываете, — так же спокойно и с достоинством говорил Джьякомо. — Поневоле вас надо отсюда вытащить, капитан, как Улисса от поющих на берегу птиц с женскими голосами.

Тет-Бу заметно покраснел.

— Подул настоящий норд-вест, — помолчав, добавил Джьякомо. — В Чёрном море это бывает не так часто, капитан. Нельзя упускать случая.

На эти слова Тет-Бу не обратил никакого внимания.

— Вот видите, — со смехом повернулся он к де Геллю.

— Хорошо, Джьякомо, вы можете идти. Возможно, мы и отойдём сегодня.

Джьякомо вышел.

Тет-Бу внимательно посмотрел на своего гостя. В полусвете, царившем в каюте, он ничего не смог прочесть на его лице.

— Скажите, — проговорил он, пытаясь овладеть равнодушной интонацией, — а что, Лермонтов всё ещё там? В Мисхоре?

По лицу де Гелля пробежала улыбка.

— Со вчерашнего дня его уже нет.

— Уехал! — скорее весело, чем удивлённо воскликнул Тет-Бу. — Послушайте, мой милый де Гелль, ну сознайтесь; вы только на этом основании и построили предположение о скором отъезде? Ну, сознайтесь же: мы с вами — давний и безуспешный поклонник и любящий и счастливый муж — мы не можем не понимать друг друга.

— Этот Лермонтов — скверный мальчишка, он совершенно несносен, — всё так же оживлённо продолжал Тет-Бу. — Я крепко бы натёр ему уши, если бы только был уверен, что это не вызовет гнева мадам Жанны. Я мог бы впутать его в пренеприятную историю. Вы знаете, ведь он приехал сюда тайком и ужасно боялся, что об этом узнают.

— Но, по-моему, среди нас он не делал из этого тайны.

— Да, но кто же знает, что он ехал на контрабандном судне, с которым пробрались Уркарт и Лонгуорт.

— Вряд ли это стоит особо разглашать, если последние находятся сейчас на «Юлии».

— Э! — Тет-Бу сделал презрительный жест рукою. — Русские в этом отношении фантастично глупы. Их не беспокоит, когда иностранцы что-то делают в их стране, раз они допущены в неё на законном основании. Они, как дикари, верят в закон, и если чего и боятся, так это что собственные же подданные его нарушат. Этот любезный Воронцов сделал решительно всё, что было в его силах, чтобы помочь мне в моих топографических занятиях. Жаль, что никому не будут известны его заслуги в исследовании и приготовлении будущего театра войны. Сейчас они не мешают мне снабжать оружием непокорённых черкесов. А вместе с тем этого мальчишку, — он же мальчик, де Гелль, этот ваш Лермонтов, — этого мальчишку они ссылают на Кавказ, карают, как тяжкого преступника, возможно, они даже не выпускают его из-под наблюдения. А за что — как вы думаете? За то, что этот мальчик наболтал какого-то не всем приятного вздора. Вы только подумайте, какая это чепуха! Нет, если бы во всём мире внутренняя охрана была поставлена так, клянусь, мы могли бы жить и умереть спокойно. Это ж идиллия, де Гелль, самая настоящая идиллия.

— Как знать, — пожал плечами де Гелль, — русские, вероятно, на этот счёт держатся иного мнения.

Он поднялся на палубу.

На берегу, садясь в экипаж, он заметил Лермонтова. Тот стоял, прислонившись к массивному причалу, с видом рассеянным и грустным смотрел на необъятный морской простор. Стук колёс о камни оторвал его от задумчивости. Он клонился с улыбкой, которую скорей можно было отнести к разряду искренне дружеских, чем только любезных. Де Гелль с отменной учтивостью отвечивал на поклон.

— Господин де Гелль!

Де Гелль поспешил толкнуть кучера, чтобы тот остановился. Лермонтов подходил большими шагами. У него был такой вид, как будто он ещё не решил — правильно ли он поступил, остановив де Гелля.

— Я очень прошу простить меня, — проговорил он как бы утомлённым голосом, — но вам ведь известны мои обстоятельства; я решаюсь просить вас передать мадам де Гелль мои самые почтительные извинения и привет, искренний и от всего сердца. Я должен уехать сегодня, сейчас, скоро, я просто лишён возможности принести эти извинения лично. А между тем я так бы хотел быть сейчас в Мисхоре.

Де Гелль очень внимательно и подробно расспросил его, когда именно, с оказией или на почтовых предполагает он уехать, высказал свои сожаления, что Лермонтов не может сейчас вместе с ним отправиться в Мисхор, не позабыл вздохнуть и о том, какое огорчение он доставит этим сообщением жене, потом крепко, с самыми лучшими пожеланиями, пожал ему руку и велел кучеру трогать.

«Вот это муж! — мелькнула, наполняя горечью сердце, завистливая мысль. — А впрочем, другой ей и не был бы нужен».

День мучительно томился жарой, но не увядал упорно. Из редкого тумана, как подводные скалы, проступили зелёные горы, уже стемнело в долинах и улицах, в домах

зажигали свет, когда пришла Жанна. Она казалась взволнованной.

— Я боялась, что уже не застану вас. Господин де Гель предлагал проводить меня. Я отказалась. Я с трудом смогла нанять экипаж.

Он посмотрел на неё внимательно и странно, как будто видел впервые.

— Вы и не застали бы меня, если б пришли на четверть часа позже, — сказал разбитым и невнятным голосом.

— Так, значит, это правда! Вы на самом деле собрались уехать?! — воскликнула она, оглядывая растерянно и недоумённо комнату. Только сейчас она заметила связанный чемодан в углу, брошенную на него бурку, заметила, что и сам он в суконном форменном сюртуке, что через плечо у него надета пашка. Ей стало мучительно тягостно, захотелось уйти от слов, ставших уже бесполезными. Но она поборола себя.

— Лермонтов, милый, мой милый Лермонтов, — проговорила с волнением, — вероятно, я совершенная дрянь, что не сумела, не смогла быть такой, чтобы вам не захотелось уехать. Сейчас я готова презирать себя, потому что вы самый замечательный и самый значительный из всех людей, которых мне посылала судьба, и вместе с тем... я вас отпускаю. О, Лермонтов, если бы вы знали, — это вырвалось почти криком, — если б вы знали, какой счастливой могла бы я быть с вами! Я упускаю своё счастье, и только потому, что я недостойна его. Ах, зачем я говорю это сейчас? Не надо, не надо, — и без того нелегко нам обоим. Ну, вот видите, какая я на самом деле дрянь.

Он ясным равнодушным взором посмотрел куда-то мимо, хрустнул пальцами, спросил, кривясь не то от боли, не то от смеха:

— Вы знаете, что такое ложное чувство?

Она ответила не сразу, тон был смущённый и растерянный.

— Ложные чувства? Это когда любишь то, что любить не следует, что не приносит нам счастья.

Всё ещё кривясь, он с досадой отмахнулся рукой:

— Нет. Это когда лелеешь, радуешься, тебе кажется, что в тебе родилось настоящее, самое настоящее чувство, а на самом деле... — он поднял на неё тяжёлый, потерянный взгляд, — его не было и нет.

Она слышала, как он шумно глотнул полной грудью воздух, видела, как шатающимся, неуверенным шагом приблизился к ней, чувствовала, как дотронулся до руки, но не двинулась с места, не переменила позы.

— Нужно прощаться. Мне пора.

Оба одновременно посмотрели друг другу в глаза. От этого взгляда медленно, как круги на воде, расходилась по лицу улыбка. У неё ломался голос, с трудом договорила до конца:

— Очень трудно сделать эту встречу не похожей ни на одну из прежних. Но так расстаться тоже ведь невозможно.

Он пожал плечами.

— Отчего? Она и так непохожа, — сказал рассеянно. — Прощайте.

Она не подняла головы, рука его повисла в воздухе. Он повернулся, тихо, стараясь не шуметь, вышел из комнаты.

На улице уже отстоялись густые лиловые сумерки. Бубенцы у почтовой четвёрки звенели крупно и грустно. Полная тяжёлой клади телега застучала по камням так, будто она тоже была из камня.

За поворотом узкой кривой улочки сгрудившаяся толпа преградила дорогу. Почтарь, привстав на сиденье, старался разглядеть что-то лежавшее за плотным кольцом сгрудившихся людей. Опускаясь снова на место, сказал равнодушно:

— Кажись, человека зарезали.

— Должно, зарезали, — согласился и ямщик и тут же закричал, понукая четвёрку: — Эй, разойдись, дай дорогу!

Телега въехала в толпу, как в тесто: толпа за нею сейчас же сомкнулась. С высоты

телеги Лермонтову казалось, что люди обтекают их, провожая равнодушными, безразличными взглядами. Через их головы он увидел на маленьком пространстве земли распластанное и безжизненное человеческое тело. Из пробитой головы натекала огромная лужа чёрной крови. Даже в сумерках Лермонтов разглядел и узнал упрямый, заросший пучками небритой щетины подбородок, жёсткие, по-солдатски подрубленные усы и баки; он не мог не узнать и огромных морских сапог, рваной и засаленной матросской рубахи, красного, сползшего к ногам кушака. Он оживился, забеспокоился, заёрзал на месте.

— Кто это его? — спросил, наклонясь с телеги.

Объяснили охотно и немедленно:

— Да пьяный какой-то. С татаринном, вишь, подрался, тот ему камнем и проломил голову, а сам сбёг.

«И это конец», — сказал про себя, сам поражаясь такому нелепому и чудовищному сопоставлению.

VIII

На пятнадцатое марта, ровно в одиннадцать часов, был назначен высочайший приём специально посланного с докладом от командира отдельного кавказского корпуса.

Часы в приёмной уже били одиннадцать, дежурный флигель-адъютант, приглашавший в кабинет назначенных к приёму, пропал за дверями. Николай встал из-за стола. Нижняя челюсть дрогнула, скопился рот, он уже готов был разразиться гневным криком, но в этот момент фамилию дежурного словно украли из памяти. Это иногда бывало. Николай прошёлся по кабинету, скова опустился в кресло, пальцы нервно забарабанили по столу. Часы в приёмной всё ещё не окончили своего металлического боя. Чуть ли не с последним их ударом запахнулась дверь. Скользящий к столу флигель-адъютант доложил на лету:

— В звании флигель-адъютанта полковник барон Будберг. С докладом командира кавказского корпуса.

Сказал и так же неслышно, как появился, исчез. Николай сурово и строго взглянул на вошедшего. Таким лицо делалось у императора, когда перед ним отвратительно маршировали на смотрах полки, когда он замечал какую-нибудь неисправность на отдельном солдате, когда немедленно и тут же никого из стоявших рядом, бывших, так сказать, под рукою, распечь и разнести было нельзя.

— Здравствуй, садись.

Государь не подал руки. Не отводящий от него глаз, словно взглядом прилип к его фигуре, полковник, как автомат, опустился на самый край кресла. Николай ближе придвинул своё, их разделял теперь только угол стола.

— Ну давай! Чего там намарали?

Полковник проворно, трясущимися руками, расстегнул туго набитый портфель, вскочил с места, хотел развернуть и карту Кавказа.

Николай досадливым жестом остановил его:

— Не надо. Я это наизусть знаю.

Полковник, часто моргая веками, поспешно сложил её, достал из портфеля бумагу. Бумага ходила в руках ходуном. Николай, брезгливо поморщившись, принял её из рук.

«Что, Будберга-то на Кавказе совсем разучили говорить, что ли?» — подумал с недоброй усмешкой.

Он, конечно, не знал, что к этому самому Будбергу, в беспокойной тоске ожидавшему призыва во дворец, два раза прибегали с приказанием из военного министерства переменить форму одежды, гадая, в какой государю будет угодно его видеть; он, конечно, не знал, что за два часа до приёма Будберг мучительно изнывал в кабинете у военного министра. Военному министру не было никакого дела до тех соображений, которые излагались в докладе командира кавказского корпуса, но, по его глубокому убеждению, что-то в них не совпадало с его собственным мнением и, следовательно, никуда не годилось.

Вначале полковник ещё пытался что-то ответить, пробовал что-то объяснить. Военный министр, отмахиваясь от него, как от прилипчивой мухи, несколько раз ткнул пальцем в карту, указывая на какое-то место на северо-западном побережье Каспийского моря.

— Вот отсюда, с правого фланга, государю именно и желательно, чтобы началось постепенное перечисление.

Полковник понял, что противоречить бесполезно. Речь шла о перечислении государственных крестьян в Ставропольской губернии в линейное казачье войско. Военный министр, очевидно, полагал, что их, то есть русских войск, правый фланг упирается в Каспийское море и войну они ведут, следовательно, против России.

Он с совершенно потерянным и убитым видом собирал свои бумаги. Военный министр, словно издеваясь, напутствовал:

— Ну, вот увидите, как будет гневаться государь.

Сейчас у Будберга в голове творилась невероятная путаница. В одном только он был твёрдо уверен: из всего, что нужно доложить государю, он уже не помнит решительно ничего. Только вчера ночью прибыл он в столицу. До этого семь суток в распутицу и грязь скакал он на перекладных, не выходя из саней от самого Таганрога. От недельной непрерывной езды и тряски тело болело и ныло, словно его били, к голове, заволакивая всё жёлтым туманом, прилиwała кровь, распухшая шея отказывалась поворачиваться в тугом воротнике.

Государь бегло одну за другой читал бумаги и раздражённо швырял их прочь. Не прочитав и половины, оттолкнул всю пачку, брови у него грозно сошлись. Полковник, качнувшись, ещё прямее вытянулся в кресле. Стараясь смотреть прямо в лицо царю, он напряжённо и часто мигал покрасневшими распухшими веками. Впрочем, царь его как бы уже и не замечал.

— Что мне рассказывают, — это было похоже на монолог, — что благосостояние крестьян упадёт по передаче их в линейное войско! На Дону военное управление ничуть не мешает народному благоденствию. Я знаю, кому это не нравится.

С последними словами он так возвысил голос, что полковник вздрогнул.

Досадливо кривясь, словно это было самое неприятное для него на свете, Николай опять придвинул к себе пачку бумаг. Взял одну, тотчас же отшвырнул, гневно ударил по столу кулаком:

— Бордель там у вас, положительный бордель. Людей нет, чтобы серьёзно заняться Кавказом. Вон у Воронцова за Крым так и вовсе я не боюсь ни с какой стороны. Вот у кого нужно бы вам поучиться.

Он помолчал, брезгливо поморщившись, взял следующую бумагу из пачки.

— Это ещё что такое?! — крикнул, гневно сверкнув глазами.

У полковника сердце раскололось в груди, отдельные части его бились теперь в коленях, в локтях, в пальцах.

— Представление командира корпуса вашему императорскому величеству, — заикаясь, пролепетал он, — с приложением рапорта генерал-лейтенанта Галафеева и наградного списка на всех особо отличившихся в делах против неприятеля за прошлогоднюю летнюю экспедицию.

У царя складками наморщился лоб, одним взлётом бровей он их разгладил, глаза метали молнии.

— Лермонтов! — закричал он, ударяя кулаком по столу. — Опять ко мне лезут с Лермонтовым! Да что там у вас, с ума все сошли?! За отличиями, что ли, на Кавказ ссылают?! Или ваше дело каждого мерзавца непременно представить героем? Вояки!! Дубины, которые не могут понять, что Кавказ у меня вовсе не для прогулок. В отпуск пустили — мало. Так они ещё к награде вздумали представлять! — Голос вдруг осёкся, теперь рубил слова хриплым и низким басом. — Передай там, что я приказал генералу Клейнмихелю в двадцать четыре часа выпроводить этого молодчика из столицы. Должен быть при полку, а не обтирать паркет гостиных. Передай, что я ставлю на вид твоему

командиру, что у него люди употребляются не в ту службу, для какой они присланы. Передай, что до сих пор на Кавказе я ещё, слава Богу, не знал таких умников, которые бы лучше меня знали, что нужно делать. Всё. Можешь идти.

Кивком головы отпустил вытянувшегося в струнку Будберга. А когда за ним закрылась дверь, царь разбитым, утомлённым движением откинулся в кресле, прошептал с покорным отчаянием:

— Господи, что делать мне с ними! Какие дураки! Боже, какие дураки!

Встал и прошёлся по кабинету. Раздражение и гнев проходили. Что-то очень неприятное слышал он на днях. Это неприятное как-то было связано с именем Лермонтова; вспомнил, что это было на докладе Орлова ⁴³. Вспомнил, что тогда же, взбешённый, приказал дежурному генералу гвардейского штаба удалить его из столицы в двадцать четыре часа. Сейчас это почти уже не раздражало.

— Болваны, они ещё пускают его в отпуск, — саркастически улыбнулся царь, шагая по кабинету.

Он продолжал шагать и продолжал думать. Напоминание о Лермонтове дало новое направление мыслям.

— Они там только ещё больше распускаются. Воздух там, что ли, заражён этим мятежным духом. Дураки, даже в экспедицию послать не сумели. Вон у Ермолова не возвращались.

Шаг сделался чётким и твёрдым, отрывисто печатал по паркету. Усмехнулся самодовольно и зло.

— Фронтальная служба, строгое выполнение своих прямых обязанностей помогает смирению.

Быстро подошёл к столу. Не присаживаясь, на клочке бумаги карандашом набросал:

Дежурному генералу.

Переведённый из гвардии в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своём полку не находился, но был употреблён в Чеченской экспедиции с особо порученною ему казачьей командою. Замечание корп. ком. Подтвердить, чтобы он Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтальной службы в полку.

Бросил карандаш. Опять походил по комнате. За окнами был зябкий мартовский день с мокрым снегом и ветром. Холод, казалось, проник и сюда. Подошёл к столу. Нагнулся. От натуги на лбу выступили жилы. Из-под стола вытащил потрёпанный кожаный футляр. На коленях открыл его, вынул и бережно обтёр куском замши трубу, вставил мундштук. Нота, тоскливая и дребезжащая, словно и она не могла не чувствовать ветра и снега, нудно вырвалась из её медного горла.

IX

Апрель золотил вечера тёплыми, розовыми закатами. На бледном небесном атласе курчавились мотки шелковистой облачной пряжи. Как оперяющиеся птенцы, покрылись почками деревья. Громады дворцов, прямые, как выстрел, проспекты, каменный и бездушный Петербург тонули в бескрайнем и прозрачнейшем воздухе. Смутным томлением и хрустальными в любой перспективе пейзажами в город пришла весна.

В доме Карамзиных, в том самом доме, где ровно год тому назад, смотря на плывущие

⁴³ Преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов и начальника Третьего отделения собственной его величества канцелярии.

за окном над Летним садом облака, читал Лермонтов «Тучки небесные, вечные странники», ждали его, снова отъезжавшего на Кавказ.

Красавица графиня Растопчина, по причине близорукости не отнимавшая от глаз лорнета, отчего томные и беспрестанно щурившиеся глаза казались полными слёз, рассказывала о последней мистификации этого очаровательного и гениального — она так и говорила: «гениального» — шалуна.

— Представьте, — говорила графиня, — каковы были наши ожидания, как мы приготовились слушать. Он объявил, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для прочтения этой повести, он требовал также, чтобы двери были закрыты для посторонних. Повесть, которую он собирался нам прочесть, называлась «Штосс». Вы представляете, как мы все были заинтригованы и этим названием и предупреждением. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись, числом около тридцати. Наконец он входит с огромной тетрадь под мышкой. Принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Но и то, что мы слышали, совершенно исключительно. Увы, — тут графиня вздохнула, — и в этой повести те же мрачные настроения. Это какой-то Сведенборг... Нет, нет, теперь у Лермонтова не бывает, очевидно, минуты, когда бы он не думал о смерти...

Эта история, которая, казалось, должна была вызвать серию воспоминаний о проказах и шалостях «неисправимого» Лермонтова, повлекла за собой совсем иные рассказы. Вспоминали случаи, встречи и слова, неоспоримо подтверждавшие, что таких минут, когда он не думает о смерти, у Лермонтова теперь не бывает.

— Да, да, в прошлом году — и ссылаемый, и разжалованный — он уезжал не с таким настроением.

Появившегося Жуковского обступили, упрекая в суровости к Лермонтову двора, и Василий Андреевич своим мягким, чуть задыхающимся голосом старался оправдать Николая.

— Но вы же, господа, знаете, что государь больше месяца тому назад соизволил приказать в двадцать четыре часа покинуть ему столицу. И это много, и это много — что ему разрешили пробыть здесь до конца отпуска. Великий князь не терпит, когда его просят отменить даже его собственное приказание, а тут он сам ходатайствовал перед государем за нашего милого проказника. Поверьте, что великий князь, снисходя к нашим общим мольбам, сделал всё.

Лакей в дверях доложил:

— Поручик Михаил Юрьевич Лермонтов!

Взгляды ожидающе обратились к дверям.

Он вошёл улыбающийся и бестревожный, такой, каким его привыкли здесь видеть всегда. Чёрный армейский сюртук не был застёгнут доверху, кавказский, до сих пор не отошедший загар оттенял белоснежность белья. Улыбка была на губах; как всегда, улыбались глаза. Не было только одного — он не был оживлённым, и это сразу заметили все.

За столом, как и прежде, ему принадлежали лучшие в этот вечер остроты и каламбуры, на нём было сосредоточено внимание всех, но...

Он шёл сюда проститься; здесь его ждали друзья, по крайней мере большинство из присутствующих считало себя таковыми; здесь его любят и ценят — он знал, или нет, не знал, а так хотелось думать; в памяти были розовые сумерки прошлогодней весны, тучки над Летним садом и тихая бестревожная грусть на сердце. Всё как и в прошлом году, только вот этого беспокойства, этой беспричинной тревоги не было тогда. А она мешала, мешала даже грустить, делала неживыми, мёртвенными, искусственными и весёлость и беззаботность. Это заметили. Он почувствовал холодок даже во внимании, с которым обращались к нему. Мысль, ставшая за последнее время привычной, вытеснила всё остальное.

«Я — один, совсем один. Никому до меня нет никакого дела. Одному жить нельзя.

Надо умереть. И пора». Как из-под ареста, встал из-за стола. Пирожными обносили в гостиной. Тотчас же вслед за хозяйкой перешёл туда. В гостиной образовались кружки, общий за столом разговор распадался, его разносили по углам. Около Наталии Николаевны Пушкиной место было свободно. Раньше чем кто-либо попытался завладеть им, не колеблясь и поспешно подошёл к ней.

В голове, наполняя всё тело тяжестью и отчаянием, стучала неотвязная мысль:

«Ей, ей, владевшей такою любовью, видевшей такое страдание, не может быть непонятно это... Она пожалеет...»

В гостиной недоумённо посмотрели на него. Этот его порыв, очевидно, удивлял.

— Наталия Николаевна... — у него дрогнул голос. — Вы не должны удивляться... Я даже не пытаюсь скрывать, что чуждался вас всегда и намеренно... Сколько вечеров, проведённых здесь, в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу...

У неё улыбка не изменила ни одной черты, только в глазах, чёрных, напоминавших зимнее ночное небо, прекрасных глазах, опущённых густыми, как мех, и длинными ресницами, в продолговатых прорезах голубых век загорелась едва уловимая насмешка.

— Сегодня вы захотели изменить себе с тем, чтобы потом говорили ещё об одной вашей причуде. Не так ли?

Горькая улыбка пробежала по его лицу. Опуская взгляд, проговорил растерянно и тихо:

— Я уезжаю навсегда... Предчувствия никогда ещё меня не обманывали... А сейчас мне не кажется, я не чувствую... Нет, нет — в Петербург я уже никогда не вернусь... И я не рисуюсь, поверьте хоть этому. Если бы только это было возможно, ах, как я хотел бы остаться здесь...

Он вздохнул тяжело и глубоко.

— ...И вот с таким-то предчувствием в первый, может быть, в первый только раз в жизни подойти к человеку с раскрытым сердцем и услышать...

Он не договорил.

— Но вы сами сказали о неприязни и предубеждении. Разве может так легко изгладиться такое чувство. Я — женщина, месье Лермонтов.

— Если бы мне казалось, что вы только женщина, если бы я думал, что, кроме поклонения себе, вы не можете принять ничего другого, я не подошёл бы, я не решился бы подойти к вам. Но нет, нет — этого не может быть, не может быть, чтобы и ваше сердце было закрыто для чувств, которым не определено места светом...

Он смотрел на неё с немым и тяжёлым вопросом. В глазах она читала страдание, страданием кривился женственный, мягко очерченный рот. В памяти ярко, как будто это было только вчера, проступила другая картина, другие губы, в смертной жажде и тоске просившие морошки. С медленно разгорающимся на щеках румянцем, беззвучно, одними губами, она прошептала:

— Я слушаю вас.

— ...Наталия Николаевна, я не должен был вас чуждаться. Я должен был знать, что моей искренности вы не ответите равнодушным презреньем. Я должен был верить, потому что вам открыто не известное даже самой прекрасной царице вашего круга.

Румянец поднялся до самых глаз, им горели кончики ушей. Мех длинных ресниц совсем закрывал глаза, и первый раз, первый раз в своей жизни, увидев это смущение, смутился испугался своей смелости Лермонтов.

— Вы помните, — проговорил он неуверенно и тихо, — за столом я сказал, что серьёзно думаю посвятить себе литературе, мечтаю, выйдя в отставку, издавать журнал. Это неправда, Наталия Николаевна, так я не думаю и не мечтаю. Кому нужна литература в стране, где на журнал, на новую книжку подписываются, как на билет благотворительного бала!

Остановился. Опять горькая и ироническая усмешка покривила губы.

— ...Талант, ну что ж талант! Сегодня, например, я не принёс с собой новых стихов, я не написал, как в прошлом году, экспромта, который читал чуть не плача. Я весел, поскольку это требуется и... вы видели, как по минутам, словно песок в часах, иссякал ко мне интерес. Что делать в России с талантом, скажите? Мучиться, вдвойне мучиться, ибо и без таланта не мучиться нельзя. Вот эти люди, этот свет, права быть равным которому я так искал и добивался, — вы видите: им я не нужен, и они мне тоже. А других ведь нет. Других читающих стихи в России нет.

Он перевёл дыхание. Даже загар, кавказский, неотстающий загар, не мог скрыть проступившей на щеках бледности. Он волновался.

Наталья Николаевна подняла низко опущенный взгляд, медленный, как бы дрожащий, скользнул он по его лицу. В глазах не было ни насмешки, ни удивления.

Мгновение, собираясь ли с мыслями или не решаясь сказать, он колебался. Взгляд чёрных глаз не отрывался от него. Он решился.

— Впрочем, я попытался искать таких вне обречённого круга. Случай мне помог. Это была женщина, не русская. Русского, от России, от нас, в ней не было ничего, и она была женщиной. Минутами мне даже казалось, что судьба поворачивается ко мне лицом. Я убеждал себя полюбить эту женщину, я делал всё, чтобы приготовить для любви своё рано остывшее сердце. И... нет, я не могу осуждать свет за всё. Тысячу раз право светское мнение, не допуская такую женщину в свой круг. Есть мудрость в неосуждении самого холодного разврата и в заклеивании самого пламенного хищничества. Может быть, придут времена и то общество, круг тех лиц, которые будут выдавать патенты на гениальность и право творить, может быть, круг тех лиц будет так же расценивать своих гениев, но для меня это омерзительно. Если всё то, что мы завистливо называем не-Россией, таково же в своих отношениях, то... умереть нужно здесь. Они и степень одиночества готовы расценивать в одном ряду с именем. О, тогда мы самые богатые и самые гениальные для них люди! Поэтому-то так и летят к нам от всех стран искатели лёгкой удачи и авантюристы.

Этих своих слов он испугался. В её глазах был упрёк. Жалкая, беспомощная улыбка просила о сострадании. Срывающимся, волнующимся голосом торопился объяснить:

— Наталья Николаевна, вы единственная женщина из всех, кого когда-либо мне суждено было встретить... Вы знаете, вы не можете не знать, что только в страдании рождается настоящая любовь. Только страданием можно постигнуть прекрасный преображённый мир, а страданию...

Закончил глухим, едва слышным шёпотом:

— ...нужна любовь... по-русски любить — это жалеть.

От лёгкого прикосновения вздрогнул. Её рука касалась его руки. Губы её страдальчески шевелились, в глазах были слёзы.

— Не надо больше об этом, — едва слышно попросила она.

Он взял её руку, поднёс к губам.

— Благодарю, благодарю за эти мгновения... Ничто не сможет отнять их из моей памяти. Но тем тяжелее для меня будет вечный упрёк в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Я всегда буду страдать от воспоминания, какое чудесное и большое сердце, какая искренность были скрыты от меня моею гордыней. Не отнимайте от меня, как ни самонадеянна она, последней радостной мечты. Может быть, когда-нибудь я стану вашим другом. Никто не помешает мне посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным. Простите меня.

Наталья Николаевна с лёгким пожатием высвободила свою руку.

— Прощать мне вам нечего, — тихо проговорила она. — Но если вам жаль уехать с изменившимся обо мне мнением, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Почтительно наклоняя голову, ещё раз сказал «простите» и медленным неуверенным шагом отошёл прочь.

Х

Вероятно, даже Старо-Московская, между Москвой и Питером, дорога не была так изъезжена, как укатали в те годы шоссе за Ставрополем. Бессонные тележки фельдъегерей, мчавших в армию царскую волю и донесения оттуда, почтовые брички, увозившие туда же военную молодёжь, разный служилый люд, сновавший беспрерывно из армии в Ставрополь и из Ставрополя в укрепления и крепостцы, мчались по ней и ночью и днём. Да и возили здесь, как нигде.

Молодой борисоглебский улан ехал в собственной четырёхместной коляске со своими лакеем и поваром, то есть с максимумом барской роскоши, какую может позволить себе офицер, едущий с подорожной «по казённой надобности».

Осетин, покрикивая, гнал лошадей, лакей клевал носом на козлах, уланский офицер мечтал, развалившись в коляске. Двадцатичетырёхлетнему воображению, необычайно легко и быстро сменяя одна другую, рисуются картины будущих успехов, увлечений, неотступного внимания, которыми окружают его, «обстрелянного кавказца», по прибытии в полк, в какой-нибудь Тамбов или Воронеж. В уме сами собой складывались фантастические рассказы о страшных опасностях, которым он подвергался здесь, на этом загадочном Кавказе, о подвигах, которых ему никогда не придётся совершить, о роковой и таинственной любви в диких горных трущобах. Иногда эти мечтания перебивались другими: он вспоминал, что далеко ещё не от всех радостей жизни, радостей настоящих, о которых он не будет рассказывать, но которые, наверное, будет иметь, он попробовал хлебнуть сладкого напитка; улыбка тогда делалась сластолюбивой и ещё более мечтательной. Приятно поёживаясь, он удобнее старался расположиться на подушках.

Лошади с разгона взлетели на крутой подъём. Когда они спустились, улан разглядел свалившуюся на один бок нагруженную доверху дорожными сундаками телегу, понуро стоявшую тройку лошадей, людей, возившихся и хлопотавших возле поломанной оси. Эти люди, ещё издали, заметив подъезжавшую коляску, стали махать руками и кричать. Двое из них были одеты кавказцами, в папахах и черкесках, с кинжалами и шашками. Осетин натянул вожжи. Оба кавказца бросились к коляске.

— Ваше благородие, явите Божескую милость, — заговорили оба разом на чистейшем русском языке. — Наши господа теперь уже на станции, вы, чай, скоро туда доедете, скажите им, какое у нас несчастье. Пусть вышлют сюда хоть перекладную, чтоб с места стронуться. Иль хоть одному из нас дозвольте с вами доехать. Будьте столь милосердны.

— Да чьи вы люди? — спросил улан.

— Господ Столыпина и Лермонтова.

Одну из этих фамилий улан уже слышал в Ставрополе. Там в бильярдной его внимание невольно привлёк вольностью и небрежностью своего обращения со всеми некий невысокий и сутулый офицер. Ему сказали, что это Лермонтов, лейб-гусар, переведён сюда по высочайшему повелению в прошлом году за какие-то проказы, сейчас возвращается из отпуска. Перспектива знакомства с опальным гвардейцем была слишком соблазнительна, чтобы улан не разрешил его человеку примоститься на козлах.

На станции улана ждало разочарование. Эти господа любезно, но не чересчур, поблагодарили его за оказанную услугу, и только. Он по застенчивости не решился набиваться в знакомые, хотя и здесь Лермонтов ещё раз отравил ему душу завистливым восхищением.

Но не состоявшемуся на этой станции знакомству суждено было завязаться на следующей. Солнце уже закатилось, когда улан прибыл в Георгиевскую крепость; его напугали рассказами о небезопасности ночного путешествия в этих местах, он решил заночевать. В ожидании самовара улан отправился побродить по крепости, а возвратившись, застал в общей зале заезжего дома Лермонтова и его спутника. Смотритель убеждал их отказаться от намерения тронуться сейчас же дальше, рассказывал, что только вчера на дороге и совсем невдалеке от крепости зарезали одного унтер-офицера. Лермонтов кричал,

что он старый кавказец, бывал в экспедициях, что его не запугаешь, требовал немедленно закладывать лошадей.

— А вот и наш новый знакомец! — воскликнул он, увидев улана. — Ну что ж, поручик, надеюсь, вы едете тоже?

Улан покраснел.

— Я, видите ли, на Кавказе только первый раз, мне сказали, я и не решаюсь в такую пору.

— Да что вы, поручик, как вам не стыдно! Едем все вместе, если на нас и нападут, то мы за себя и постоять сумеем.

Улан улыбнулся хитро и осторожно.

— Зачем, господа, рисковать жизнью по-пустому. Не лучше ли будет, если мы побережём свою храбрость для чего-нибудь такого, знаете ли, героического.

Лермонтов разразился весёлым смехом.

— Э, Монго, да это, оказывается, весельчак! К нам, к нам поручик! Чай будем пить, пока закладывают.

Улан с живейшей охотой принял предложение, за столом он просто замирал от восторга, слушая, как непринуждённо и свободно отзываются его новые знакомцы обо всём и обо всех на свете.

— Вот, так их и так-то, — беспрерывно пересыпал свою речь самой отборной руганью Лермонтов, — кроме отряда — никуда. Едва уломал этого хрыча Граббе позволить мне хоть немножко поболтаться по Ставрополю. А то и этого уж нельзя. Да ну их всех...

У улана даже рот раскрылся от удивления, когда Лермонтов перебрал всех по очереди, горячо и с чувством разругался.

Оба приятеля чуть не задохнулись от смеха, глядя на своего изумлённого и потрясённого собеседника. Но так же внезапно, как он пришёл, смех и окончился.

Принесли кахетинское.

Ещё возбуждённой, ещё беспорядочней, перебрасываясь с одного на другое, болтал без умолку Лермонтов.

Улан, слушавший его с почтительным вниманием, всё же решился заметить:

— Не согласен, решительно не согласен. Ну подумайте только. Вот я приеду теперь в Пятигорск, остановлюсь в хорошей квартире, все прелести жизни будут к моим услугам. Я так думаю, что нигде, как на водах, хотя там и не был, женщины не бывают столь добры и снисходительны к легкомысленной молодости. Право, господа, поедemте со мной в Пятигорск. Вы ведь как-нибудь сумеете это устроить.

— В Пятигорск? В Пятигорск? — на минуту задумываясь, вполголоса повторил Лермонтов. — Нет, Столыпин, решено: мы едем в отряд.

Облачко грусти только мгновенье держалось на его лице.

Наутро Лермонтов поднялся из постели последним. Его кузен и улан уже сидели за самоваром, когда он появился в общем зале. Ещё с порога он крикнул Столыпину:

— А знаешь, ведь теперь в Пятигорске замечательно хорошо, какие там сейчас люди, как славно бы мы могли там позабавиться!

Подошёл и, обняв его за плечи, ласково стал упрашивать:

— Ну поедem, Столыпин, ну что тебе стоит.

Столыпин, осторожно освобождаясь из объятий, ответил с лёгкой досадой:

— Ты же знаешь, что это решительно невозможно. Мне поручено свезти тебя в отряд. Вон на столе наша подорожная, а в ней инструкция, — посмотри.

Лермонтов нетерпеливо махнул на него рукой и вскочил из-за стола.

— Ну! Едем!

С этими словами он выкинул кошелёк, достал оттуда монету.

— Ну вот, я бросаю полтинник. Если ляжет кверху орлом, едем в отряд, если решёткой — в Пятигорск. Согласен?

Столыпин молча кивнул головой.

Монета упала решёткой кверху.

— Судьба, Столыпин, судьба. Позвать людей, нам уже запрягли.

— Я осмелюсь предложить вам свою коляску: много удобнее, да и ехать всем вместе веселее, — предложил улан.

— Не возражаю, поручик, не возражаю. Вы очень любезны.

Лермонтов находился в каком-то странном, неестественном возбуждении, весь горел и изнывал от нетерпения. Столыпин попробовал предложить переждать только дождь. Он капризно, как маленький ребёнок, надул губы.

— Тогда мы не попадём туда сегодня, — проговорил он обиженно. — И то ведь будем только вечером.

В Пятигорск они приехали вымокшие насквозь. Дождь перестал, в воздухе терпко пахло каким-то древесным цветением, по стеклу фонаря у дверей гостиницы струйками стекала вода. Толстый армянин в белой рубашке, перепоясанной тонким ремешком, кланялся и приветствовал Лермонтова, как старого знакомого.

— Это Найтаки, Магденко (улана звали Магденко), лучший гостинщик, каких я когда-либо видел. Верно, Найтаки?

Через час в номер к Магденко явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетые, в свежем белье и в халатах. На Лермонтове был шёлковый тёмно-зелёный с узорами. Перебирая и играя концами подпоясывавшего его шнура, Лермонтов весело обежал глазами комнату.

— Вы у нас умница. Всё сервировано как следует: ни к чему не придерёшься. Да, Столыпин, — с живостью обратился он к кузену, — ты знаешь, ведь и Мартышка здесь. Я уже сказал Найтаки, чтобы за ним сейчас же послали.

По улыбке Столыпина можно было понять, что он одобряет распоряжение своего друга.

Только через час явился посланный, ходивший за Мартыновым, и доложил, что «его высокоблагородие господин Мартынов приказывали благодарить и сказать, что не будут». У Лермонтова удивлённо приподнялись брови.

— Барин был один? Не спал, когда ты явился?

— Никак нет-с, лежали одетыми на диване и курили трубку. Никого при мне у них не было.

Лермонтов перевёл удивлённый взгляд на Столыпина, тот тоже недоумевающе пожал плечами.

— Ничего не понимаю. Завтра постараюсь повидать его. Это слишком странно — не желает встречи со старыми приятелями.

— Не стоит, — махнул рукой Лермонтов.

Весёлое настроение пропало сразу, он стал задумчивым, угрюмым, не говоря ни с кем ни слова, выпил полстакана вина и, пожелав спокойной ночи, ушёл к себе.

Ещё в Петербурге, чуть ли не в первый день своего приезда, он ощутил в себе какое-то новое, незнакомое чувство. Это не была тоска, не было похоже и на боль самолюбивой обиды, — это была непрерывная мертвящая и изводившая скука. Что-то посягало на его взаимоотношения с миром, нарушало их и мешало жить.

Утром — он постарался скрыть это и от Столыпина — отправился к источнику с определённым, если не единственным только желанием встретить Мартынова.

У источника — он всё-таки подивился, хоть и на мгновение только, — он увидел Надежду Фёдоровну. Она сидела на самом солнце возле ванного домика с книжкой в руках. Очевидно, это было предписано врачом.

Она не вскрикнула от неожиданности или удивления, не смутилась и не покраснела, только глаза раскрывались так медленно, что ему показалось — ей дурно. Обмолвился, будто нечаянно, но с горькой усмешкой и иронически:

— Всё — как и в прошлом году. Как будто я и не уезжал из Пятигорска.

У ней перестали раскрываться глаза, она наклонила голову, засмеялась тихим,

беззвучным смехом.

— Нет только той француженки, которой я была обязана столькими счастливыми минутами.

— Не говорите вздору! — перебил он резко. — Это может вас лишить их навсегда и в будущем... Если только вы на них ещё надеетесь, конечно.

Она сразу перестала смеяться, на лице осталась улыбка, пустая, противно виноватая. По улыбке понял, что он её ненавидит, ненавидел и тогда, в прошлом году, не ненавидеть не может.

— Ну как вам здесь? Скучаете? Кто новый любовник? Хорош?

Она опять опустила глаза, прошептала едва слышно:

— Миша, — это было сказано просто и человечно. Он этим тронулся. — Миша, ведь я не ищу твоей любви. Я знаю, что ты меня презираешь. Ну что ж, презирай, делай что хочешь, только...

Она вдруг остановилась, словно у неё закружилась голова, откинулась на спинку скамейки. Он едва-едва разобрал среди задыхающегося шёпота:

— Мне можно сегодня прийти к тебе?

— Я ещё не устроился, не знаю — останусь ли в городе. Устроюсь, пришлю сказать. Кстати, а ты где живёшь теперь?

Она назвала фамилию владельца дома. Похоже, что он не слышал. Двое военных и штатский, махая ещё издали руками, спешили к нему.

— Лермонтов! Лермонтов! Ты как сюда попал?

Он даже не попрощался с ней, кинувшись им навстречу, всей своею фигурой стараясь изобразить сплошное недоуменье.

— Еду я, братцы, в отряд со строгим предписанием — от полка никуда, — словно раздумывая, проговорил он. — И вот видите... Свернул с Георгиевской...

Дальше он был уже не в состоянии сдерживать душившего его смеха, расхохотался неистово и заразительно. Когда порядком посмеялись и порадовались неожиданному прибытию его в Пятигорск, один из компании сказал:

— Лермонтов, слушай, мы все живём вместе: Васильчиков ⁴⁴, Глебов и я. У нас огромная квартира. Перебирайся-ка к нам. Ты где остановился? Ну что, брат, в гостинице тебе делать! С тобой Столыпин? Ну что ж, и для него место найдётся, мы прекрасно вас обоих устроим. Ведь ты же нескоро отсюда уедешь, не ври, пожалуйста. Ты же ведь мастер на такие штуки.

— Мастер-то мастер, а что выйдет — неизвестно. Признаться вам, братцы, ехать охоты никакой.

— Постой, постой! Куда ты?

— Погодите. Тут мне нужно с Мартышкой по одному делу изъясниться.

По площадке медленным чванливым шагом шёл Мартынов. Видимо, он направлялся к ним, но, заметив Лермонтова, резко повернул в сторону.

Лермонтов, кивнув головой приятелям, бросился к нему. На лице была самая искренняя радость и даже восторг.

— Мартышка! Мартынов! Николай Соломонович!

Тот обернулся, сделал строгое и страшно достойное лицо, мгновение колебался остановиться.

Лермонтов подошёл к нему.

— Что с тобою, дружище? Ты что, решил не знаться, что ли, со мною?

Мартынов сдержанно кивнул головой, но руки не протянул.

— Я надеялся, из моего вчерашнего ответа вам всё будет ясно, — сухо проговорил

⁴⁴ Васильчиков Александр Илларионович (1818–1881) — князь, член административной комиссии на Кавказе, мемуарист.

Мартынов, выпячивая грудь вперёд.

— Вам?! Вы?! Всё ясно?! Что за чепуха?! Ничего не понимаю.

Лермонтов говорил с такой неподдельной весёлостью, вся внешность его дышала таким дружеством и сердечностью, что Мартынов поколебался.

— Я не знаю, вы... или ты, ну, да это не важно. Словом, ты, Лермонтов, умнее меня, меня ты можешь одурачить. Но всё-таки сейчас я готов поверить в искренность твоих чувств. Если действительно нет ничего, — последнее он подчеркнул, — то объяснись.

Лермонтов весело расхохотался.

— Ну как же объясниться, когда сам говоришь: ничего нет. Ну и чудак же ты, Мартышка. Я просто ума не приложу, что взбрело тебе в голову. У нас с тобой даже женщины общей не было, чтоб ты мог меня ревновать задним числом.

Мартынов вспылал:

— Ваших плоских шуток выслушивать я не намерен. Я говорю серьёзно. Раз я прошу объяснений, значит, у меня есть к тому основания.

Лермонтов посмотрел на него прищуренным, презирающим взглядом.

— За один такой тон, господин Мартынов, я должен был бы пригласить вас к барьеру. Но я так легко не швыряюсь добрыми отношениями. В чём дело? Я никогда ничего против тебя не имел, ничего не предпринимал, ничем, даже за глаза, не обидел...

— А письмо?

— Какое? Я никогда к тебе не писал.

— Письмо, которое ты взялся доставить от моих родителей ко мне. Это было четыре года назад.

В памяти неясной, обрывочной картиной промелькнула изба под Москвой, сетка дождя, занавесившая дали, дерзкая самовлюблённая юность, трепетавший на шестке комков чёрного пепла. Никаких угрызений совести или раскаяния он при этом не почувствовал.

Лермонтов усмехнулся.

— Ну и что же письмо? Не украл же я его, в самом деле. Я уговорил тогда тебя принять мои собственные деньги, потому что у меня это письмо украли вместе с чемоданом. Ну каких тебе ещё нужно объяснений? Если тебе кажется мало и этих, то теперь уж я буду спрашивать у тебя, но других и в другом месте.

Мартынов как будто смутился.

— Постой, постой, Лермонтов, ты не горячись, пойми же и меня. Я могу показать тебе письмо отца. Я написал им тогда, что ты заставил взять твои деньги, потому что у тебя в дороге украли письмо. На это отец мне написал, что, вложив в письмо деньги, он ничего тебе не сказал об этом, следовательно, знать о деньгах ты не мог, и вдруг ты их мне возвращаешь. Ну скажи, что же я должен подумать в таком случае?

Лермонтов посмотрел на него с сожаляющей улыбкой.

— Дурак ты, Мартышка, — вот что я тебе скажу. Если бы я заподозрил, что кто-то распечатал и прочёл принадлежащее мне письмо, я сделал бы так, что этот человек навсегда потерял бы имя порядочного, а не стал бы требовать у него объяснений. Если же я считал бы этого человека своим другом, то я просто пришёл бы к нему и спросил: «Скажи мне, каким образом ты узнал, что в конверте были деньги?» А ты вместо этого сделал страшно достойное лицо и получил за это «дурака». Ну хочешь, я тебе расскажу, как это было, хотя я вовсе и не обязан это объяснять? Письмо у меня действительно украли. Оно пропало вместе с портфелем, в котором лежало. Через несколько дней как-то обнаружилось, что украл портфель мой же крепостной человек. Деньги, разумеется, у него были целы, но все письма, как мои, так и чужие, которые были у меня, он, дурак, уничтожил. Что мне нужно было делать в таком случае? Сдать его в первом же городе властям? Но он у меня давно, привык к моим требованиям, и я привык к нему. Мой эгоизм пересилил в этом случае гнев, я только пообещался, что в следующий раз отдам его в солдаты. Кажется, даже и вообще он остался без наказания, потому что в дороге я скоро, признаться, и совсем позабыл об этом. В портфеле моих денег не было, в других письмах, я знал, тоже. Следовательно, те триста

рублей, которые оказались у моего Андрюшки, должны были принадлежать тебе. Что же мне было — присвоить чужие деньги? Рассказать тебе всю историю — всё равно это ничему бы не помогло; сказал: украли, и действительно украли. Ну, что ты ещё хочешь? Прислать тебе Андрюшку, чтобы ты наказал его по своему усмотрению? Хочешь, я пришлю?

Мартынов с минуту как бы соображал, как надо ему поступить.

— Ну, извини меня, Мишель, — наконец с трудом выговорил он и попробовал улыбнуться. Улыбка не вышла: похоже было, что, пустая и противно виноватая, такая же, какой улыбалась полчаса тому назад Надежда Фёдоровна, пыталась и не могла она пристать к его лицу.

Лермонтов пожал протянутую руку, и вдруг ему стало совершенно ясно, что с этого момента Мартынова он будет ненавидеть, ненавидеть всю жизнь.

XI

Июль накапливал грозы. По ночам испуганно метавшиеся зарницы с громовым треском раздирали пополам небо. Днями ползли тяжёлые свинцовые тучи, далеко в горах гремел гром. Грозы ждали каждый день. Но горячий, как из печки, ветер упорно тянул с собою тучи; скрываясь за горами, они ползли на горизонт, земля, и зелень задыхались и темнели от зноя. От духоты и жары люди не находили себе места. Даже ночью трудно было ходить — так сомнительна была её прохлада.

Лермонтов как возвратился домой в первом часу, так сейчас же разделся и лёг в постель. Окно было открыто. Во флигеле напротив, где жили Мартынов, Глебов и Васильчиков, был свет. На белой занавеске, как на экране, метался, вздрагивал — то воспрянет, то опять упадёт — абрис человеческой головы. Через открытые окна до слуха Лермонтова долетали голоса. Говорил Мартынов, Глебов только иногда, перебивая его, задавал вопрос о том или другом.

— Ты понимаешь, — захлёбывался возмущением голос Мартынова, — с самого своего приезда в Пятигорск он не пропускал ни одного случая, где бы он мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счёт, — одним словом, всё, чем можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я показывал ему — ты знаешь, — показывал, как умел, что вовсе не намерен служить мишенью для его ума, но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, чтоб я над ним смеялся, но действительно перестал на некоторое время. Потом взялся опять. Сегодня ты слышал этот глупейший, бестактный выпад у Верзилина, в то время когда Трубецкой играл на рояле?

В голосе Мартынова просочилась горечь самой настоящей обиды.

— Нет, не слышал, — сказал Глебов, — а что?

— Ну, то же самое, в чём он всегда изошряет своё остроумие, что изображает в своих глупейших карикатурах на меня, что рассказывает в дурацких своих анекдотах. Когда мы вышли, я удержал его за руку, — вы все были уже впереди, мы отстали, и тут я сказал ему, что я и прежде просил прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он ещё вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо лучше сделал, если б действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэли. Следовательно, ты никого этим не испугаешь».

Мартынов тяжело перевёл дыхание.

— Ну и что же? Ты серьёзно намерен послать ему вызов? — спросил Глебов. — Это совершенная чепуха! Тебе драться с Лермонтовым! Из-за чего? Ты же знаешь, каков он, — тут его голос стал тише. — Он никого не может видеть спокойно. Разве над нами он не

смеётся? Над любым из нас? А в сущности, ты же знаешь, какой это прекрасный товарищ.

Его перебил Васильчиков:

— Ты же из его собственных слов можешь видеть, что в сущности не Мартынов его вызывает, но он вызывает Мартынова. Неужели после этого Николай ещё должен первый делать шаги к примирению...

Дальше Лермонтов слушать не стал. В темноте он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и вышел за дверь. В коридоре растолкал спавшего на ларе слугу.

— Ступай сейчас к князю Васильчикову, скажи, что я его прошу прийти ко мне сейчас же. Понял? Сейчас же, он мне очень нужен, так и скажи.

Через пять минут Васильчиков был уже у него.

— Князь, извини, я тебя побеспокоил, и вот по какому делу. Господин Мартынов вздумал читать мне проповеди о том, как я должен вести себя. Я сказал ему, что, если моё поведение ему не нравится, он может поступать как ему угодно, но слушать его дальше я не намерен. Тогда он сказал, что пришлёт секунданта. Вот, князь, я и послал за тобою, думаю, что ты не откажешь мне в чести быть моим...

Васильчиков посмотрел на него удивлённо.

— Ну да, в чести быть моим поверенным. Что ты так смотришь? Не шутил же я, в самом деле, указывая ему такой выход. Врачи свидетельствуют мои болезни, начальство требует прибыть к полку, а тут ещё этот дурак со своей фанаберией. Будь добр, избавь меня хоть от этих бесполезных и утомительных разговоров.

— Ну, это-то мы уладим, быстро вас примирим, — убеждённо заявил Васильчиков.

Лермонтов посмотрел на него устало и как бы с сожалением.

— Делайте что хотите, — сказал он ленивым и равнодушным голосом. Помолчал и усмехнулся. — Впрочем, и у меня есть сердце. Если Мартынов придёт и публично при всех обещается в дальнейшем ко мне с нравоучениями не приставать, а за прошлое принесёт извинения, может, я и подумаю простить ему. В противном случае и не старайтесь: напрасно. Дураков учить нужно...

— Послушай, Лермонтов...

— Нет, нет, князь, об этом довольно. Если ты оказываешь мне эту честь, то сговорись с тем, кого заблагорассудится выбрать Мартынову, я заранее согласен на любые условия. Только сейчас и вообще до самого поединка и перед поединком тоже не приставайте и не надоедайте мне. А сейчас я смертельно хочу спать, — он зевнул. — Ты уж извини меня, князенька. А за то, что не ломался и был умником, разных глупостей не наговорил, — спасибо.

Как только затихли на дворе шаги Васильчикова, Лермонтов встал и прошёл в соседнюю комнату. Столыпин ещё не спал. Лежал в постели с книжкой, впрочем, кажется, её не читая. Нагоревшая свечка коптила.

— Ты что? — тихо спросил он Лермонтова.

— Понимаешь, я совершенно изнемог от этой духоты. Вообще я не могу переносить предгрозы. Ох, разразилась бы, что ли, наконец гроза, а то полыхает, полыхает, и всё без толку.

— Зачем ты сейчас звал к себе Васильчикова? — спросил, посмотрев ему в глаза, Столыпин.

— А, — Лермонтов досадливо махнул рукой, — глупость какая-то. Мартынов, кажется, собирается послать мне вызов. По правде говоря, я даже рад тому. Надоел он мне, как хвост собаке. Кажется, он всерьёз вообразил, что я подсмеиваюсь над ним, уязвлённый его успехами. Сейчас после Верзилиных он вздумал мне читать наставления. Понимаешь, это уже походит на то, что он думает — я спущу и это.

Столыпин улыбнулся, немного подумал и сказал:

— Да, пожалуй, проучить не мешает. Это невыносимо, когда дурак делается заносчивым. Дуэль, разумеется, кончится у вас ничем, а ему всё же будет урок на будущее. А почему ты меня не позвал в секунданты?

— Я думал, Алёша, но раз дело доходит до поединка, неприятности будут непременно. А на тебя и так царь уже довольно сердит. Ну, я и решил не впутывать тебя в историю. Во всяком случае, если что — с Васильчикова не в пример меньше взыщется, чем с тебя...

Лермонтов посмотрел на Столыпина, и тот посмотрел на него. Улыбка, ласковая и заботливая, скользнула одновременно по лицам обоих.

— Ты бы, Маеша, велел дать себе вина. Это помогает от духоты, и спать будешь лучше, — с нежностью глядя на него, сказал Столыпин.

Лермонтов только махнул рукой.

— Ничто не поможет. Если б разразилась гроза... Я даже сказать тебе не могу, как я жду эту грозу.

Они ещё с полчаса проговорили друг с другом о разных предметах. Ничто и никак не относилось в этих разговорах к предстоящей дуэли. Казалось, оба об ней и забыли.

Наутро — Лермонтов ещё был в постели — явились Васильчиков с Глебовым. Только для виду, как показалось Лермонтову, они попытались склонить его к примирению. Он рассердился.

— Я сказал вчера Александру, чего я хочу от того. Нет — будем драться.

— Но ты же этим ещё больше задеваешь его честь.

— Э, что он понимает в чести, кроме того, чему его выучили?! А я его переучу. Поняли? Хотите заняться сами? Пожалуйста, на отсрочку я согласен. Сегодня же уезжаю в Железноводск, и до пятнадцатого вы можете образумлять его как хотите: целых два дня в вашем распоряжении. Пятнадцатого же я буду утром. Назначить час и место — ваше дело.

...Пятнадцатого рано утром он был в Пятигорске. Оба секунданта, казалось, имели огорчённый и расстроенный вид. Мартынов, по их словам, решительно отказывался от примирения.

В ресторации собралась вся компания, за исключением Глебова, которому, как секунданту противной стороны, быть с ними вместе было неудобно.

Лермонтов был в таком настроении, в каком его давно уже никто не видел. Его фантазия по части всевозможных дурачеств, шуток над теми, кто только попадал в его поле зрения, была поистине неистощима. В конце концов он так заразил, начинил всех своею весёлостью, что смеялись теперь чуть ли не каждому его слову, чуть ли не каждому жесту. Он пододвинул к себе с накрытого стола все тарелки, и всем это показалось очень смешным. Потом по очереди одну за другой он быстро, коротким сухим ударом ударял об голову и ставил на место. Тарелки оставались целы, но на каждой появилась тонкая черта трещины.

— Зачем это?

— Погодите — увидите, — ответил с загадочным выражением.

Когда прислуга собрала со стола посуду, Лермонтов приказал Магденко:

— Ты самый расторопный, выйди-ка в сад, посмотри под окном, что делается сейчас на кухне, и скорей доложи нам.

Магденко возвратился, покатываясь со смеху.

Надтреснутые тарелки, как только их опускали в горячую воду, немедленно лопались. В окаренках образовалась груда черепков. Естественно, что на кухне бранили и всячески грозили ни в чём не повинной прислуге. Об этом, к великому веселью собравшихся, и доложил Магденко.

— Надо всё-таки пойти возместить хозяину убытки, — сказал Лермонтов, когда взрыв хохота немного утих.

К столу вернулся как будто чем-то обеспокоенный и встревоженный.

— Саша, нам не пора? — обратился он к Васильчикову.

Васильчиков посмотрел на часы.

— Уже шестой.

Лермонтов налил себе бокал.

— Кто за что, а я за то, чтоб наконец разразилась гроза.

На него посмотрели удивлённо. Один Столыпин, протягивая свой бокал, сказал с улыбкой:

— За то, чтобы прошла гроза.

Этот бокал Лермонтов пил страшно медленно, рассеянным, отсутствующим взглядом устремясь куда-то вдаль. Вдруг, не допив его до дна, он озабоченно вскочил с места:

— Саша, пошли, пошли.

Васильчиков поднялся из-за стола. Кто-то сказал:

— А как же сегодня будет с Кисловодском?

— Я, может быть... — Лермонтов на мгновение задумался. — Нет, наверное, я сегодня не поеду, не смогу. Прощайте, друзья, желаю веселиться. Пойдём, Васильчиков.

Один Столыпин проводил их до дверей. В дверях, пожимая руку, он вдруг наклонился порывисто, в лоб, в губы поцеловал кузена.

Столыпин с грустной улыбкой смотрел им вслед и, только когда красная канаусовая ⁴⁵ рубашка его кузена скрылась совсем из глаз, вернулся к столу.

— Трубецкой, — шепнул он, занимая своё место. — Мы тоже поедem за ними. Нужно только, чтобы не обратили внимания, переждём немного.

Воздух был душен и раскалён, тишина стояла такая, что было слышно, как где-то очень далеко, может, в Горячеводской, стучал топор. С севера из-за Машука ползла чудовищная туча. Тень от неё перекатилась через гору, тяжёлая и тоже горячая, дотекала до города.

Выезжая за ворота, Лермонтов, улыбаясь, сказал:

— Дуэль по всем правилам. Даже не захватили доктора. Значит, либо будем сегодня пить мировую, либо...

Он не договорил.

Вступая на край сползшей с горы тени, шарахнулась в сторону лошадь. Он поводом выправил её. Воздух был налит тяжёлым предгрозовым удушьем. Солнце уже касалось края тучи. Косые лучи его стрелами кололи засохший колючий кустарник.

— Термидор.

— Что? — удивлённо переспросил Васильчиков.

— Термидор, я говорю. Сегодня по французскому революционному календарю должно быть десятое термидора.

— А что тогда случилось?

Лермонтов пожал плечами.

— Ничего особенного. В пять часов дня десятого термидора в Париже на Гревской площади был обезглавлен Робеспьер.

— А, — протянул Васильчиков.

— Что «а»? Ты, чай, и забыл думать, кто такой Робеспьер.

— Ну вот ещё, — обиженно проговорил Васильчиков, — прекрасно помню. Самый добродетельный.

Лермонтов засмеялся.

— Действительно, оказывается, помнишь. Верно, верно, самый добродетельный, который хотел всех сделать добродетельными.

Невдалеке от них послышалось конское ржание. В стороне от дороги стояли дрожки, на которых уехал Глебов, рядом с ними была привязана осёдланная лошадь.

— Ну вот и приехали, — весело сказал Лермонтов, сворачивая с дороги и соскакивая с коня.

Навстречу им из-за кустов вышел Глебов. Он подошёл к Васильчикову, таинственно пошептался с ним.

— Ну что же? — нетерпеливо спросил Лермонтов.

Глебов, одновременно и смущаясь и в то же время стараясь выдержать официальный

⁴⁵ Канаус — шёлковая ткань невысокого сорта.

тон, начал было говорить о возможностях бескровного исхода. Лермонтов раздражённо выругался.

— Да что, в самом деле! Шутки ради, что ли, тащились сюда по такой жаре? Приступайте же.

С вершины горы потянул лёгонький, едва ощутимый ветерок; Лермонтов рванул, разорвал ворот рубашки, подставил грудь под его дуновение.

Васильчиков подошёл к нему, шепнул отрывисто, избегая смотреть в глаза:

— Идём... те.

Он улыбнулся, быстрым и лёгким шагом прошёл за кусты.

На маленькой полянке, ещё освещённой косыми лучами солнца, стоял Мартынов. При их появлении он поклонился свысока и церемонно. Лермонтов, оборачиваясь к Васильчикову, спросил глазами и шёпотом:

— Здесь?

— Сейчас узнаем, — отвечал тот растерянно, видимо не зная, что нужно делать, и чувствуя, — что-то делать нужно, иначе всё это окажется бессмысленным, смешным, а смешным это быть не должно.

Глебов с деловитым видом большими шагами измерял в это время полянку.

— Ничего не выходит, — сказал он, дойдя до крайних кустов, — здесь всего двадцать три шага.

Мартынов с деланно равнодушным видом пожал плечами.

Лермонтову вспомнилась его улыбка в первую встречу здесь, в Пятигорске, он почувствовал, как в сердце поднимается слепая ко всем и на всех злоба.

«Сегодня прогоню к чёрту эту рыжую стерву, — подумал он даже с каким-то удовлетворением. — Надоела. Довольно, пора кончить. Вечером же сяду писать».

Глебову он бросил с досадой:

— Ну, чего там ещё искать. Идём на дорогу. Там места хватит.

Опять хрустели сухие кусты. Крайняя, привязанная к кустам лошадь, повернув голову, проводила их взглядом. На небе туча совсем закрыла солнце. С земли поднялся тяжёлый, неповоротливый ветер. Когда секунданты уже отмерили барьер, отметив его воткнутой в землю веткой, и разводили противников на позиции, вдалеке вдруг послышался стук копыт. Глебов предупреждающе поднял руку. Противники сошли со своих мест. Все напряжённо и в молчании смотрели в ту сторону, откуда доносился приближающийся конский топот. Из-за поворота показались два скачущих карьером всадника. Мартынов шумно вздохнул. Вероятно, это был вздох облегчения. Васильчиков обрадованно уже кричал:

— Слава Богу! Это Столыпин и Трубецкой! Можно начинать. По местам, господа.

Столыпин и Трубецкой, доскакав, проворно спрыгнули с коней. Глебов рукой показал им, чтобы они не переходили круга. Они отошли к кустам, где были привязаны лошади, остановились, держа своих коней в поводу.

Солнечный свет сгушался и темнел. Ветер снова дохнул едва уловимой прохладой. Лермонтов вдруг почувствовал, как на лоб ему упала крупная дождевая капля. Обрадованно вскинул голову, жадно посмотрел на небо. В воздухе была всё та же неподвижная тишина. Васильчиков подал ему пистолет. Он рассеянно взял его. С ясной и кроткой улыбкой смотрел в ту сторону, где застелившая небо туча сделала дали лиловыми и холодными. Кто-то — он не разобрал: Васильчиков или Глебов, — крикнул: «Марш!» Он не тронулся с места. Мартынов прямым и твёрдым шагом, как на параде, шёл на барьер. Лермонтов удивился, что тот в одном бешмете. Когда Мартынов сбросил черкеску, он не заметил. Кругом всё стало лиловым, белый шёлк мартыновского бешмета казался намелённой на тёмной стене целью. Потом на этом белом пятне появилась маленькая чёрная точка, чёрная точка, как безразлично-равнодушный глаз, смотрела на него. Лермонтов взвёл курок, хотелось отвести глаза от белого бешмета, не смог и поднял пистолет дулом вверх.

«Подумают, что заслоняюсь стволом и рукою», — мелькнуло в голове. И он спокойно и даже лениво повернулся левой стороной к противнику.

Мартынов быстрыми шагами подошёл к барьеру и выстрелил.

Лермонтов упал, как будто его скосило, не сделав ни одного движения, не успев даже схватиться за большое место, как это обыкновенно делают раненые. Все, кроме Мартынова, бросились к нему. В правом боку у него дымилась рана, с левой стороны рубашка намочла кровью. Столыпин взял его руку, рука безжизненно отпала в сторону.

— Конец!

Мартынов словно только и ждал этого слова, шатающимся, неуверенным шагом подошёл к мёртвому. Перекрестился, рука у него дрожала, и, крестясь, он клал пальцы выше плеч. Потом быстро, словно подломились ноги, он опустился на колени, поцеловал труп в губы и, так же быстро поднявшись с земли, бегом устремился к своей лошади. На том месте, где он стоял вначале, тёмным бесформенным пятном осталась лежать брошенная на дорогу черкеска. Стук копыт его лошади вывел из оцепенения стоявших над убитым.

— Нужно ехать за доктором, — растерянно пробормотал Васильчиков, порываясь идти.

— Зачем?! Он же мёртвый. Нужно позаботиться о подводе, не на дрожках же повезём тело.

В этот момент страшный удар грома, казалось, потряс до основания Машук. Словно целая туча камней летела с его вершины, перекатываясь с грохотом и рёвом. Лениво перебегавший до сих пор по земле ветер вдруг поднялся вверх, неистово погнав на неподвижно стоявших над трупом людей, на самый труп, лежавший на дороге, полосу косога частого дождя.

— Вот она разразилась... — начал и не договорил Столыпин. Голос у него оборвался хриплыми и глухими рыданиями.

XII

Уже давно собственная жизнь стала представляться Евгению Петровичу как бы птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той, попытками взлететь казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть, интересоваться жизнью. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот, никаких неразрешённых вопросов у него теперь не бывало.

За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом тех дел, которые были поручены его ведению, так привык с полуслова понимать волю и желания своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не обременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда, было и ещё одно обстоятельство, делавшее её не только не обременительной, но даже приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло — он не сумел бы рассказать и себе, но вызвать на его лице улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением, услышать похвалу или одобрение доставляло ему настоящую радость.

Он не возмущился внутренне, не поспешил уклониться от откровенности, когда весной прошлого, 1840 года, в первый раз за всё время совместной с ним службы, граф завёл с ним разговор об его семейных делах.

Бенкендорф, очевидно, давно уже заметил и оценил новое отношение к себе со стороны своего адъютанта и фаворита. Но тем не менее приступил он к этому разговору весьма и весьма осторожно. Он начал с того, что похвалил внешний вид Самсонова, подивился, чему бы приписать его ещё недавнюю удручённость и подавленность, и только потом, как бы невзначай, спросил:

— А кстати, топ cher, где сейчас твоя жена? Помнится, ты куда-то её отправлял?

Самсонов ответил, что жена на водах, на Кавказе, что здоровье её как будто поправляется, что сам он выглядит таким весёлым и бодрым, вероятно, оттого, что имеет возможность упиваться самой подлинной радостью, наблюдая, как подрастает его маленький сын, который «решительно во всём походит на него...»

Бенкендорф заговорил о сыне, Самсонов даже не заметил, как его принципал с разговора об его сыне перешёл на сыновей вообще, на растущее и подрастающее поколение.

— Воспитание дорогого тебе ребёнка, *mon cher*, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь. Только...

Самсонов внимал мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, старался запомнить слова начальника, как добрый совет.

А Бенкендорф уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, нужно обзаводиться новой, что, если у тебя вырван из тела кусок мяса и болтается на ниточке, нужно, не побоявшись боли, оторвать его совсем, иначе рана никогда не заживёт. Закончил, так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова не могло даже и возникнуть сомнений насчёт бескорыстности его советов.

— Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать, — тут Бенкендорф вздохнул, — ...если начал говорить правду, то нужно её говорить до конца. Ты, *mon cher*, ещё молод, будущее в твоих руках. Ну, не удался твой брак, обманула нас Львова, — а ведь как мы с покойником её отцом о вас думали! — ну что делать, нужно примириться и забыть.

Бенкендорф опять вздохнул, ласково посмотрел на Самсонова. В его взгляде Евгений Петрович прочёл и нежность, и страдание, ему сделалось вдруг так хорошо и вместе с тем так сладко-печально, что его нагрудный знак даже отделился от мундира от тяжёлого вздоха.

— Нужно кончить, кончить нужно, *mon cher*... — опять заговорил Бенкендорф. — Человека переделать нельзя, ведь ты убедился в этом, убедился, значит... нужно о нём забыть... Просить государя о разводе... ммм... это скандал: нельзя... но у тебя есть выход. Все знают, что твоя жена больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже с ней разлуку только затем, чтобы поправить её здоровье! Оставь её там, на Кавказе, или устрой на зиму где-нибудь в деревне у хороших и порядочных людей... Э, *mon cher*, повторяю, ты слишком ещё молод, чтобы не забыть этого скоро... Послушайся моего совета.

Самсонов послушался. Самолюбие не позволило писать с той же осторожностью и мягкостью, с какой поучал его граф. Письмо, отправленное Надежде Фёдоровне, стилем и тоном больше напоминало казённое отношение или приказание, какие рассылались из управления делами императорской Главной квартиры. Этой зимой Надежда Фёдоровна в Петербурге не появилась.

Действительно ли так хорошо понимал человеческие сердца Бенкендорф или это случилось от чего другого, — но многие нашли в ту зиму, что Евгений Петрович совсем уж не такой бука и что он даже может быть, если захочет, интересным для общества.

Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землёю.

Весна поразила Евгения Петровича большою — с ней трудно было примириться — неприятностью. Уже давно прихварывавший Бенкендорф этой весной уезжал для лечения за границу, и, по-видимому, надолго, если не навсегда. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Фёдорович Орлов.

Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен, больше всего на свете дорожил своим покоем, вкусным обедом, рюмкой старого и редкого вина, в котором он понимал толк. Воспитанный Бенкендорфом Самсонов, иначе и не представлявший себе своего принципала, как иссыхающим в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управлении порядками. Служебным девизом графа Орлова было «авось да небось». Поэтому летом, когда двор по обыкновению переехал в Петергоф, а войска выступили в лагерь и, как всегда, для Самсонова наступило самое трудное и самое беспокойное время, он приходил прямо в отчаяние от безучастного равнодушия, в котором пребывал его новый принципал.

Как на грех, это лето, как никогда, изобиловало парадами, смотрами и манёврами. Особенно много их было в июле.

При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым.

Об этом заботился сам граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу. В одном из них он прочёл, что 28 июля государь «изволит объезжать лагерь под Красным Селом». Приказ был от 26-го, а у них по Главной квартире ещё не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу показалось, что даже кожа у него на руках, как старые перчатки, только мешает осязанию. Не было даже времени предаваться отчаянию здесь, не выходя из канцелярии. Он полетел в Стрельну, где теперь пребывал на даче его начальник. Тот встретил его на террасе, в лёгком халате, обставленный вёдрами со льдом и прохладительными напитками, изнемогающий от жары, но, как всегда, благодушный и невозмутимый.

— Здравствуй, мой архангел. Что скажешь хорошенького?

— Ваше сиятельство, послезавтра государь объезжает лагерь в Красном Селе!

— В самом деле? Ну, с чем тебя и поздравляю.

— Но, ваше сиятельство, ведь по этому случаю нам нужно сделать много распоряжений, нужно нарядить туда дежурных, сообщить все сведения о сборе в Красное Село, сообщить на главную конюшню и много ещё другого.

Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потянулся было за графином, но не доставала рука.

— Дай-ка, мой милый, вон того лимонаду. И кому только в голову придёт в такую жару смотреть делать?!

Он как-то чересчур внимательно поглядел на Самсонова, отвёл глаза и сказал:

— Да, скажи мне, пожалуйста, что такое там у тебя с женой? Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе понять, что он не желает её возвращения в столицу. Это почему? Ты, брат, уж меня извини, говорю прямо: я — русский человек, не умею такие вещи обиняком высказывать.

Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какие-либо сравнения, если бы он мог и хотел определить своё ощущение в данный момент, то «птице перебили и ноги» — было бы самым верным.

Значит, не из доброго расположения Бенкендорф, не от участия подал ему такой совет! Хотелось убежать, запереться в четырёх стенах, никого не видеть, не слышать, — нужно было скакать в Петербург, оттуда в Красное готовить всё для царского смотра.

Если бы Орлов не сказал ему этого, может быть, как-нибудь и сбыли бы этот смотр. Но теперь валились из рук не только бумажки, не приходило то, что нужно, на ум, — из рук вываливался день.

Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию Орлов был вытребован из Стрельны специальным фельдъегерем. Утомлённый и рассерженный и ездой, и зноем, и нагоняем, граф ворчливо стал выговаривать Самсонову:

— Знаешь? Государь очень прогневался, что не нашёл здесь никого, и изволил выразиться, что мне это простительно, по новости дела, а тебе, так давно занимающемуся им, — нет.

Он не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые энергичные ругательства.

Самсонов пропустил замечание мимо ушей.

— Ваше сиятельство, — почтительно доложил он, — государь изволил приказать поставить свою палатку вот здесь, недалеко, на правом фланге бивуака Преображенского полка.

— С чем тебя и поздравляю!

Это была обычная поговорка, поэтому Самсонов не отставал:

— Ваше сиятельство, не угодно ли присутствовать при исполнении этого приказания? Граф Бенкендорф никогда и никому не доверял постановку палатки государя, всегда сам распоряжался.

— Покорно благодарю. Нет, брат, я свои руки и ноги не в дровах нашёл, чтобы так легко ими жертвовать.

С палаткой дело не совсем гладко, но всё же сошло. Евгений Петрович наконец мог прилечь и отдохнуть после двух бессонных ночей.

«Завтра, завтра! Что такое ещё завтра? На завтра, кажется, назначено что-то ещё», — силился вспомнить Евгений Петрович, но так и не вспомнил: для завтрашнего манёвра от него ничего не требовалось. Он заснул.

Следующий день как будто немного исправил настроение Николая Павловича. По окончании манёвра государь объезжал вызвавшую в этот день особое его одобрение конную артиллерию, по нескольку раз благодарил батареи. Ударили отбой, «по домам».

«Слава Богу, — у Самсонова сердце маленьким холодным комком застыло в груди, томленьем заныли руки и ноги. — Всё кончилось. Можно ехать домой и думать, думать...»

Вдруг государь тронул своего коня, догоняя разъезжавшиеся батареи, своим звучным голосом скомандовал:

— Конная артиллерия! Стой! Равняйся!

В грохоте скачущих в карьер орудий команду не расслышали. Николай дал шпоры, стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии, ещё раз повторил команду. Опять никакого результата. Он обернулся, ища за собой глазами трубача.

Назначать к государю трубачей входило в обязанность Самсонова. Увы, в этот день за государевой лошадейю не ездил ни один трубач.

Николай Павлович круто повернул коня и возвратился на прежнее место.

— Орлов! — раздался снова зычный голос.

Орлов, с рукою под козырёк, галопом подскочил к нему. Государь что-то говорил раздражённо и гневно.

— Государю коляску! — крикнул Самсонову Орлов, и тот сломя голову поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж.

Едва он отъехал саженой на сто, как снова голос:

— Самсонов! Самсонов!

Вслед за Евгением Петровичем скакал дежурный флигель-адъютант.

— Ступай, государь тебя спрашивает.

Самсонов повернул коня.

Государь и вся свита стояли теперь спешившись, одной тесной группой. Конная фигура, одиноко маячившая возле этой группы, преградила дорогу Самсонову. Это был герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

— *Ecoutez*, — проговорил он вполголоса. — *L'empereur est furieux contre vous, ne lui repondez pas on mot, ou vous etes on homme perdue* ⁴⁶.

— *Monseigneur*, — отвечал Самсонов со слезами на глазах, — *jamais tant que je vivrai, cet acte d'interet et de bonte, que vous daignez me temoigner, ne sortira ni de mon coeur, ni de ma memoire* ⁴⁷.

Но раньше, чем он тронул коня, государь его уже заметил.

— А, пожалуйста-ка сюда!

Самсонов соскочил с лошади и вышел на середину кружка.

— Что это значит, что, как я ни приеду, всегда застаю какие-нибудь неисправности? — загремел знакомый и грозный голос. — Пора бы, кажется, вам привыкнуть к вашей обязанности! Ступайте-ка на гауптвахту!

В этот момент внимание всех привлёк столб пыли, показавшийся над дорогой. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, а это тоже входило в его обязанности. Кто мог скакать по военному полю, когда на нём происходили манёвры?

⁴⁶ Послушайте, император сердится на вас, не отвечайте ему ни слова, иначе вы погибший человек (фр.).

⁴⁷ Государь, никогда, сколько бы я ни жил, этот акт внимания и доброты, который вы удостоили оказать мне, не уйдёт ни из моего сердца, ни из моей памяти (фр.).

Из облака пыли вырвалась загнанная, взмыленная тройка, фельдъегерь, цепляясь палашом, ещё раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окружённому свитой государю.

— Ваше величество, донесение с Кавказа.

Николай посмотрел кисло.

Только через четвёртые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успел надломить печать, у второго в руках бумаги высвободились из конверта, третий, развернув их, успел перетасовать по степени важности.

Из рук Лейхтенбергского Николай брал и читал их по очереди.

Первые две, бегло просмотрев, он сунул кому-то, не глядя, с коротким:

— Это Чернышёву.

Когда подъехала коляска, у Лейхтенбергского в руках ещё оставалась одна бумажка.

— Что ещё? — нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку.

— Вашему императорскому величеству рапорт пятигорского коменданта генерал-майора Ильяшенкова ⁴⁸, - ответил Лейхтенбергский.

Царь только слегка повернул голову в его сторону:

— Ну?

Лейхтенбергский прочёл:

№ 1427 июля 16-го дня
Его императорскому величеству
пятигорского коменданта

РАПОРТ

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней, уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырёх верстах от города у подошвы горы Машука имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок навывлет, от каковой раны Лермонтов помер на месте...

Николай Павлович досадливо махнул рукой. Лейхтенбергский перестал читать.

— Собаке собачья смерть, — долетели до слуха Евгения Петровича внятные, разрубленные паузами слова.

Царь сел в коляску и отбыл с поля.

Евгений Петрович всё ещё стоял. Группа, окружавшая царя, шумно обмениваясь впечатлениями, постепенно расходилась.

Евгению Петровичу вспомнились другие манёвры на этом же самом поле шесть лет назад, он вспомнил себя. Стало жалко безвозвратно ушедшую молодость, так жалко, что хотелось плакать. Вспомнил, что тогда же ему и встретилась впервые фамилия Лермонтов, по ней вспомнил ту запись, которую сделал тогда в дневнике. Память стремительно, словно её преследовали, бежала по всем этим шести годам, ни на одном из них, ни на одном дне, ни на одной минуте она не захотела остановиться.

— Как глупо-то, ужасно как глупо, — вздохнул он.

Это относилось, очевидно, к дневнику.

— Ужасно глупо.

Он вздохнул ещё раз и пошёл объявиться арестованным на Красносельскую гауптвахту.

⁴⁸ Ильяшенко (Ильяшенков) Василий Иванович — полковник, комендант Пятигорска. Пытался предотвратить дуэль Лермонтова с Мартыновым.

1936